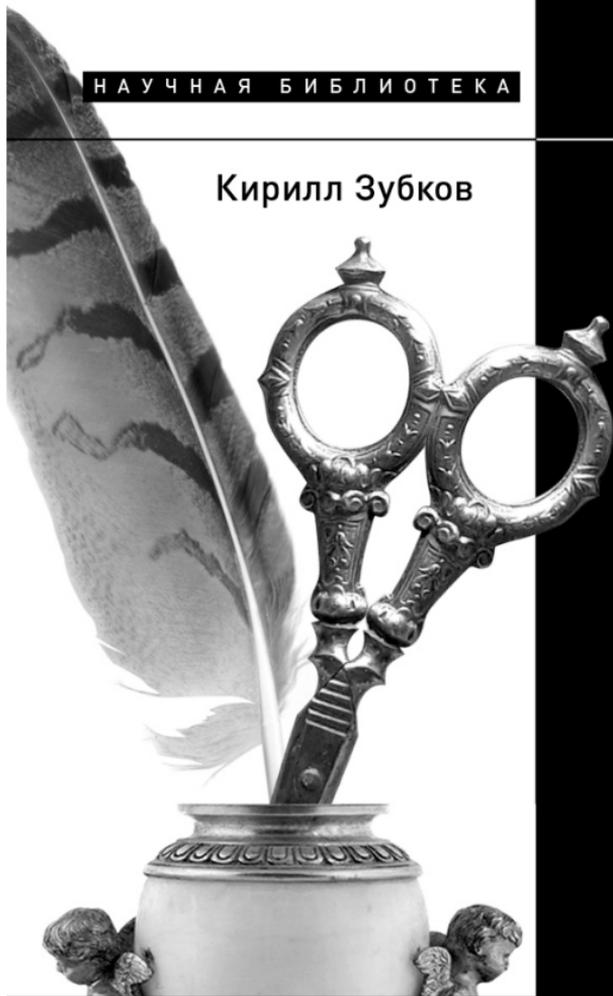


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Кирилл Зубков



ПРОСВЕЩАТЬ

И

КАРАТЬ

Функции цензуры в Российской империи середины XIX века

Кирилл Юрьевич Зубков
Просвещать и карать. Функции
цензуры в Российской
империи середины XIX века

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69164947

*Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи
середины XIX века: Новое литературное обозрение; Москва; 2023
ISBN 9785444821601*

Аннотация

Одно из самых опасных свойств цензуры – коллективное нежелание осмыслять те огромные последствия, которые ее действия несут для общества. В России XIX века именно это ведомство было одним из главных инструментов, с помощью которых государство воздействовало на литературную жизнь. Но верно ли расхожее представление о цензорах как о бездумных агентах репрессивной политики и о писателях как о поборниках чистой свободы слова? В книге Кирилла Зубкова отношения между литературой и цензурой в России того времени предстают сложной сетью взаимодействий, несводимой к однолинейному давлению цензоров на писателей. Автор исследует этот предмет на материале нескольких показательных случаев, связанных с деятельностью двух крупных писателей – Ивана Гончарова, который сам занимал должность цензора, и

Александра Островского, который часто становился предметом внимания сотрудников этого ведомства. Кирилл Зубков – историк литературы, кандидат филологических наук, автор книги «Сценарии перемен», вышедшей в издательстве «НЛО».

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ВВЕДЕНИЕ	10
Предварительные замечания	10
Либеральное понимание цензуры и попытки реvisions	20
Теоретические модели в историографии российской цензуры	44
Институт цензуры в Российской империи середины XIX века	54
Предмет и структура работы	91
Часть 1. Гончаров: писатель как цензор, цензор как писатель	98
Глава 1	106
1. Гончаров, «либеральная бюрократия» и «новый курс» в цензурном ведомстве	107
2. Чем занимался Гончаров в цензурном комитете? Реформаторские планы и повседневная практика	123
Экскурс 1	134
Глава 2	155
1. «...действовать по цензуре в смягчительном духе»: Министр Норов и попытки либерализации цензурного	156

ведомства	
2. Гончаров в министерстве цензуры: Об одном несостоявшемся проекте реформ	170
Экскурс 2	195
Глава 3	219
Конец ознакомительного фрагмента.	224

Кирилл Зубков

Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор этой работы начал заниматься изучением цензуры в 2011 году. Участвуя в подготовке Полного собрания сочинений и писем И. А. Гончарова, я получил задание составить исчерпывающий список цензурованных Гончаровым произведений¹. Поначалу новое направление исследований вызвало у меня сугубо отрицательную реакцию, причем по двум причинам. Во-первых, сам предмет изучения – цензура – вызывал у меня отторжение в силу этических причин. Во-вторых, многочисленные документы, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве (протоколы заседаний, официальные отчеты, служебная переписка между

¹ Этот список был в итоге опубликован в 10-м томе указанного издания (см.: *Гончаров*, т. 10).

бюрократами из различных ведомств, формулярные списки цензоров), казались мне невероятно скучными, особенно на фоне романов, стихотворений и пьес XIX века, которыми я преимущественно занимался до того. Однако чем больше я вникал в содержание архивов цензурного ведомства, тем сильнее менялось мое отношение к цензуре. Моя идейная неприязнь к этому ведомству и его деятельности, конечно, никуда не делась, однако за скучными протоколами и донесениями мне открылась по-своему увлекательная и захватывающая жизнь цензурного ведомства. Вникая в кажущиеся однообразными и унылыми документы, я понимал, что цензура активно участвовала в литературной и общественной жизни Российской империи. Если не учитывать этот фактор, вряд ли возможно понять наиболее значимые процессы в культуре Российской империи – по крайней мере, те из них, что связаны с печатным словом или публичным исполнением тех или иных произведений. Через несколько лет подобных занятий мне стало ясно, насколько иллюзорны распространенные представления о том, что цензура представляет собою периферийное, хотя и важное обстоятельство в истории русской литературы; напротив, как оказалось, невозможно отделить историю литературы от истории цензуры. Собственно, предлагаемая книга представляет собою попытку осмыслить именно это положение вещей. Прежде всего меня интересует вопрос, какова была роль цензуры в литературном процессе середины XIX века и – шире – в эволю-

ции российских общества и культуры в эту эпоху.

Вместе с тем мой интерес к теме книги подогревался и другими обстоятельствами, вовсе не имеющими отношения к академической науке. Чтобы познакомиться с деятельностью цензурного ведомства, современному человеку не требуется проводить архивных изысканий: напротив, политическая цензура остается одним из самых значимых факторов, определяющих распространение информации на земном шаре. В 2021 году журналисты Мария Ресса и Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за усилия, направленные на сохранение свободы слова. По мнению Нобелевского комитета, свобода слова входит в число предпосылок демократии и мира². Не поддаваясь соблазну вести дискуссию о справедливости награждения и формулировок, замечу, что это награждение свидетельствует об огромном внимании, которое проблема цензуры привлекает в современном мире. Надеюсь, что моя работа внесет скромный вклад в обсуждение этого вопроса.

Эта работа стала возможной благодаря советам и поддержке моих коллег: Н. Б. Алдониной, А. Ю. Балакина, А. С. Бодровой, Е. И. Вожик, М. А. Петровских, А. А. Пономаревой, А. В. Романовой, Е. Н. Федяхиной и многих других. Я благодарен им за поддержку и помощь. Я очень признателен сотрудникам Российского государственного исторического архива, Рукописного отдела Института русской литерату-

² URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2021/summary/>.

ры, Государственного архива Российской Федерации и Центрального архива г. Москвы, в которых собирался материал для этой книги. Важным шагом в понимании общих механизмов функционирования цензуры стала для меня работа в библиотеке Нью-Йоркского университета, ставшая возможной благодаря щедрой поддержке Джордан-Центра (Jordan Center). Я продолжил работу в Центре славянско-евразийских исследований Университета Хоккайдо (Slavic-Eurasian Research Center), щедро предоставившем мне возможность провести несколько месяцев в прекрасных условиях. Я благодарен сотрудникам Центра, особенно Дайске Адати и Йоко Аосиме (Daisuke Adachi и Yoko Aoshima). Некоторые части работы основаны на материалах моих публикаций, вышедших за последние десять лет. Я благодарен рецензентам и читателям этих работ, высказывавшим свои замечания.

ВВЕДЕНИЕ

Предварительные замечания

Эта книга, как и предыдущая наша большая работа, посвящена прежде всего тому, каким образом в Российской империи периода модернизации соотносились литература, общество и государство. В книге «Сценарии перемен: Уваровская награда и эволюция русской драматургии в эпоху Александра II» мы пытались показать, что литературные премии в Российской империи представляли собою сложный гибрид «общественного» и «государственного». Теперь фокус переносится именно на государство – не как на тему для произведений и предмет изображения, а как на активного участника литературного процесса. В этом смысле литературу мы понимаем как один из значимых институтов публичной сферы, складывавшейся в Российской империи на протяжении XIX века. Научных работ о публичной сфере в Российской империи немало, однако собственно литературное сообщество в поле внимания исследователей попадает редко³. Это неудивительно: изучение русской литературы им-

³ См., напр.: *Волков В.* Формы общественной жизни: Публичная сфера и понятия общества в Российской Империи: Дис. ... доктора философии (PhD). Кембридж, 1995; *Смит Д.* Работа над диким камнем: Массонский орден и русское

перского периода методами, хотя бы косвенно связанными с социологией, до сих пор дискредитировано плачевным наследием советских исследователей. Мы пытаемся, с одной стороны, вернуть науку о литературе к обсуждению социальных вопросов, а с другой – избежать примитивного редуционистского подхода, для которого литература есть лишь «надстройка» или «отражение» каких-либо лежащих вне ее феноменов.

Обращаясь к теме цензуры, очень легко последовать за многочисленными исследователями и представить писателей исключительно как объекты давления и репрессий со стороны правительства. Разумеется, нельзя отрицать, что правительство оказывало давление и проводило репрессии, направленные против многих писателей; верно и то, что цензура была одним из основных инструментов этого давления. Однако сводить к этому связи между литературой и цензурой в силу нескольких причин невозможно. Во-первых, не так-то просто отделить писателей от цензоров: штат цензурного ведомства часто пополнялся за счет литераторов, включая очень крупных. Во-вторых, писатели, в свою очередь,

общество в XVIII веке / Авториз. пер. с англ. К. Осповата и Д. Хитровой. М.: Новое литературное обозрение, 2006; *Velizhev M. The Moscow English Club and the Public Sphere in Early Nineteenth-Century Russia // The Europeanized Elite in Russia, 1862–1825. Public Role and Subjective Self / Eds. A. Schönle, A. Zorin, A. Evstratov. DeKalb: Northern Illinois UP, 2016. P. 220–237*; *Несовершенная публичная сфера: История режимов публичности в России / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев, Т. Вайзер. М.: Новое литературное обозрение, 2021.*

были самостоятельными акторами взаимодействия с цензурой, которые могли повлиять на принимаемые цензорами решения. Что бы ни происходило, они редко оставались исключительно безмолвными жертвами. В-третьих, ни цензурные инстанции, ни писательское сообщество не были монолитными: цензор мог защищать писателя от своих строгих коллег, ссылаясь при этом на эстетические достоинства его сочинений; а писатели могли вступать в принципиальные дискуссии о том, как относиться к цензуре и взаимодействовать с ее представителями. Все это вынуждает мыслить отношения литературы и цензуры как сложную сеть взаимодействий, несводимую к однолинейному давлению писателей на цензоров.

Литературу XIX века невозможно отделить от цензуры: действия репрессивного ведомства настолько переплетены с жизнью и творчеством писателей, что нельзя путем какой бы то ни было интеллектуальной операции «вычесть» их из литературного процесса и вообразить, каким было бы творчество, скажем, Пушкина или Некрасова, если бы цензуры не существовало. Как утверждали в классической работе В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсон,

Мы можем читать произведения Пушкина, декабристов, Белинского, не представляя себе в полной мере, как они создавались и как издавались, мы можем отвлечься от условий творчества их авторов и борьбы, которую им приходилось вести. Тогда русская

литература XIX века предстанет перед нами более бесстрашной, чем она была на самом деле. Многие в ней останутся для нас непонятным или понятным не до конца⁴.

Возможно, предлагаемая читателю книга может вызвать упреки в попытке исторического оправдания цензуры. Наша работа действительно призвана опровергнуть традиционные представления о литературе как чистом выражении свободы слова и цензуре как орудии репрессивной политики государства. Читатель не найдет на страницах этой книги и насмешек над глупостью цензоров, якобы не понимавших те литературные произведения, которые они разрешали и запрещали⁵. Сотрудники цензуры, по нашему убеждению, в среднем интерпретировали литературные произведения, руководствуясь вполне понятными и внутренне логичными убеждениями. Несмотря на это, конечно, мы вовсе не считаем существование государственной цензуры полезным обстоятельством или необходимым злом. Напротив, автор этих строк убежден, что цензура представляла собою одну из темных сторон прошлого, о которых мы слишком часто склонны забывать, когда говорим о развитии литературы. Между тем забывать о цензуре не следует никогда хотя бы в силу

⁴ Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М.: Книга, 1986. С. 6.

⁵ См., напр., недавнее важное исследование: Волошина С. М. Власть и журналистика: Николай I, Андрей Краевский и другие. М.: Дело, 2022.

ее поразительной способности возродиться и расцвести в беспечных обществах, мало интересующихся «политикой». Необходимость осмыслить этот горький урок и обусловила появление нашей книги.

Внутренняя проблематичность цензуры отразилась и в литературе. Русские литераторы XIX века неоднократно писали о цензорах. По преимуществу это, конечно, произведения сатирического толка, эпиграммы и проч. Странно было бы ждать от большинства писателей попыток объективно оценить роль цензуры в литературном процессе – именно здесь берут начало многочисленные характеристики цензоров как ограниченных и глупых людей. Но если вчитаться в эти описания, нетрудно заметить, насколько двойственной выглядит в них роль цензора. В «Послании цензору» (1822) А. С. Пушкина, например, адресат описан как воплощение всех типичных пороков цензора – глупости, ограниченности, неумения понимать свободное слово и стремления подавить его:

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь;
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом⁶.

⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. Кн. 2. СПб.: Наука, 2016. С. 80.

Однако в том же самом произведении дается описание «идеального» цензора, которому приписываются совершенно иные качества, в том числе подходящие скорее представителю свободного слова, – собственное достоинство, внутренняя свобода, гражданские чувства и ответственность:

Но цензор гражданин, и сан его священный:
Он должен ум иметь прямой и просвещенный;
<...>
Закону преданный, отечество любя,
Принять ответственность умеет на себя;
<...>
Он друг писателю, пред знатью не труслив,
Благоразумен, тверд, свободен, справедлив⁷.

Другая неожиданная особенность: в цензоре Пушкин видит не только душителя свободы слова, не только активную фигуру, влияющую на литературу, но и читателя, который сам оказывается в некотором смысле жертвой писателей, злоупотребляющих правом высказываться:

Так, цензор мученик; порой захочет он
Ум чтеньем освежить; Руссо, Вольтер, Бюффон,
Державин, Карамзин манят его желанье,
А должен посвятить бесплодное вниманье

⁷ Там же. С. 79–80.

На бредни новые какого-то вряля,
Которому досуг петь рощи да поля,
Да связь утрата в них, ищи ее с начала,
Или вымарывай из тощего журнала
Насмешки грубые и площадную брань,
Учтивых остряков затейливую дань⁸.

Если первый аспект пушкинского образа цензора («глупец и трус») вполне согласуется с распространенной в научной литературе характеристикой этой непопулярной профессии, то представление об идеальном цензоре и тем более о цензоре как о «мученике», страдающем от литературы, может озадачить современного читателя. Очевидно, дело тут даже не столько в оценках отдельных личностей (как бы ни был порочен сам институт цензуры, его представители могут быть вполне либерально настроены), сколько в общей сложности ситуации: согласно Пушкину, отношения цензоров и писателей намного сложнее, чем согласно многим историкам цензуры. Как мы увидим далее, история цензуры в Российской империи подтверждает мнение Пушкина.

Роль цензуры большинству читателей хочется проигнорировать. В силу этических, политических и многих других причин нам, конечно, приятно думать о писателях как самостоятельных творческих субъектах, создающих свои произведения абсолютно свободно и успешно преодолевающих

⁸ Там же. С. 79.

любое давление. В действительности, однако, ситуация выглядела вовсе не так: жить в государстве и быть независимым от этого государства невозможно, даже если ты знаменитый русский писатель (может быть, в особенности если ты знаменитый русский писатель). В подавляющем большинстве случаев литераторы думали о цензорах и учитывали их возможную реакцию постоянно, от самого замысла произведения до публикации; часто находились в тесном общении с цензорами, которое иногда могло быть вовсе не антагонистическим, а доверительным и приятельским (особенно это относится, конечно, к издателям и редакторам периодических изданий); нередко сами становились цензорами и верой и правдой служили Российской империи. Об этом не всегда хочется думать, однако интеллектуальная честность обязывает исследователя писать о том, как цензура формировала литературу.

По нашему мнению, утверждения, будто литераторы могли сохранить независимость от политических обстоятельств или писать о «вечных» вопросах, которых цензоры якобы не понимали, принципиально вредны: творчество русских писателей постоянно тесно соприкасалось с политическими проблемами, а цензоры были достаточно проницательными и умными читателями. В этой связи роль цензуры оказывается в конечном счете двойственной. С одной стороны, цензоры действительно пытались ограничить писателей, заставляя их не писать на актуальные темы или писать лишь в том

духе, который был выгоден правительству. С другой стороны, в силу этих ограничений любое высказывание писателя должно было пройти через цензуру и быть или одобрено, или запрещено – это уже само по себе включало любое произведение в орбиту политических вопросов. Стремясь деполитизировать литературу, цензоры ее политизировали.

Проклятия в адрес «царской цензуры», в советской историографии превратившиеся в своеобразный ритуал, едва ли могут нам помочь. Заявляя, что цензоры были тупы или ограничены, сводя их деятельность к анекдотическим историям о непонимании литературных произведений и абсурдных претензиях к ним, исследователи скорее поддерживают стереотип, согласно которому «настоящая» деятельность литераторов оставалась недоступна цензурному контролю. Очень многие цензоры были образованны, умны, отлично разбирались в литературе и вмешивались в самые разные аспекты творчества, обращая внимание даже на такие детали и проблемы, которые современному историку литературы кажутся совершенно неочевидными⁹. Если мы хотим противостоять цензуре, наша задача должна состоять не в том, чтобы

⁹ Ср.: «В одном из самых знаковых исследований цензуры Лео Штраус, беженец из нацистской Германии, выдающийся философ и исследователь литературы, заявил, что цензоры по природе своей глупы, потому что не обладают способностью замечать потайные сообщения, спрятанные между строк спорного текста <...> Цензоры не только обращали внимание на все нюансы скрытого смысла, они учитывали и то, как напечатанный текст повлияет на общество» (*Дарнтон Р. Цензоры за работой: Как государство формирует литературу. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 334*).

высмеять ее представителей, а в том, чтобы адекватно объяснить их роль в литературе.

Либеральное понимание цензуры и попытки ревизии

Если пытаться давать максимально общие определения, цензура представляет собою принципиальное неравенство в отношениях между участниками публичной коммуникации, поддерживаемое и воспроизводимое за счет системы социальных институтов. Это неравенство не может не приводить к ограничению прав этих участников и к привилегированному положению одних за счет других. Цензурой могут заниматься государство, церковь, общественные организации или корпорации, а жертвами ее могут становиться любые субъекты, пожелавшие высказаться публично. Такая характеристика цензуры, впрочем, едва ли полезна для конкретного использования в историческом исследовании.

На протяжении нескольких веков цензура была не просто важной организацией, но и значимым предметом для размышления писателей, философов и ученых. В этом разделе мы попытаемся охарактеризовать основные концепции цензуры, релевантные для нашего обсуждения. В наши цели не входит детальный анализ высказываний того или иного автора – их позиции интересуют нас как примеры различных подходов к тому, каким образом можно говорить о цензуре и изучать ее. Приводимые цитаты и примеры в целом достаточно широко известны, так что предлагаемое введение мо-

жет показаться банальным и не вполне уместным в исторической книге. Однако многие из затрагиваемых здесь вопросов ранее в русскоязычной литературе освещались настолько редко, что стоит, кажется, хотя бы кратко их охарактеризовать на относительно известном материале, прежде чем переходить к малоизвестному материалу в основной части работы.

Причины, по которым роль цензуры обычно сводится исключительно к бессмысленному ограничению свободы писателя, связаны с очень устойчивой либеральной традицией, где свобода слова связывается с индивидуальностью, а ограничения свободы слова – с подавлением независимой личности. В европейской культуре Нового времени закрепилось устойчивое противопоставление: на одном полюсе – свободная авторская воля и независимое общественное мнение, а на другом – ее ограничения, налагаемые правительством. «Авторская функция» (М. Фуко) связана с современными представлениями о личности как об уникальном и автономном источнике свободного творчества¹⁰. Напротив, цензура была по умолчанию негативной силой, неспособной к сози-

¹⁰ См., напр.: *Woodmansee M. The Author, Art, and the Market: Rereading the History of Aesthetics. New York: Columbia UP, 1994. P. 35–36.* Мы не будем вдаваться в сложный вопрос, как, собственно, понималась разными авторами творческая деятельность: предполагалось ли создание нового произведения «из ничего» или уникальная рекомбинация уже существовавших в традиции элементов (см.: *Macfarlane R. Original Copy: Plagiarism and Originality in Nineteenth-Century Literature. Oxford: Oxford UP, 2007; Mazzeo T. Plagiarism and Literary Property in the Romantic Period. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007).*

данию и лишь искажающей и разрушающей авторское творение. Очень точно эту концепцию выразил Джон Мильтон в «Ареопагитике» (1644) – речи, адресованной британскому парламенту, который годом ранее ввел цензуру. В знаменитом фрагменте своего сочинения Мильтон проводит прямые параллели между книгой и человеком, характеризуя обоих как наделенные самостоятельностью божественные создания:

...действуя без достаточной осмотрительности, убить хорошую книгу – то же, что убить хорошего человека; так, кто убивает человека, убивает разумное создание, подобие Божие; но тот, кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум – действительно истинное подобие Господа¹¹.

Сама форма «Ареопагитики» задает связь между этой концепцией человека и представлениями об обществе и государстве. Английский поэт напечатал свое произведение в нарушение тех самых законов, с которыми боролся. Пожалуй, более важно, что Мильтон, противник королевской власти (напомним, его произведение создано во время открытой войны между королем и парламентом), призывал членов парламента руководствоваться не произволом одного лица, а справедливым мнением, основанным на общепринятых нор-

¹¹ Мильтон Дж. Арёпагитика: Речь о свободе печати, обращенная к английскому парламенту (1644). Казань: Тип. Д. М. Гран, 1905. С. 7. О значении этого фрагмента для эволюции представлений об авторстве см.: Rose M. Authors and Owners: The Invention of Copyright. Harvard UP, 1993. P. 29.

мах разума и не ограничивающим ничьей свободы:

...Мы не мечтаем о такого рода свободе, при которой в республике никогда уже не являлось бы никаких затруднений: этого никто и ждать не смеет; но когда неудовольствия свободно выслушиваются, внимательно рассматриваются и быстро удовлетворяются, тогда достигается крайняя граница гражданской свободы, какой только может пожелать благоразумный человек;

...людям тем яснее станет различие между великодушием трехлетнего парламента и ревнивым высокомерием сановников церкви и двора, захватывающих власть в свои руки, когда они увидят, что вы, среди ваших побед и успехов, принимаете возражения на ваши установления более снисходительно, нежели другие правительства, которые, привыкнув заботиться только о внешнем благе своего государства, не потерпели бы самое слабое выражение неудовольствий против какого-нибудь необдуманного закона¹².

По Мильтону, автор должен был находиться в прямом контакте с публикой, формируя самодостаточное сообщество читателей, которому государство, не желающее быть тираническим, обязано было даровать независимость¹³.

¹² Мильтон Дж. Ареопагитика. С. 3, 5.

¹³ См.: Rose M. The Public Sphere and the Emergence of Copyright: *Areopagitica*, the Stationers' Company, and the Statute of Anne // Privilege and Property: Essays on the History of Copyright / Eds. R. Deazley, M. Kretschmer, L. Bently. Cambridge: OpenBook Publishers, 2010. P. 67–88.

Цензуру Мильтон прямо описывал как нарушение права человека на выбор между добром и злом, то есть фактически вмешательство в божественный миропорядок, согласно которому человек наделен самостоятельным разумом и внутренней свободой:

Зачем же нам стремиться к строгости, противной Богу и природе, сокращая и уменьшая те средства для познания добродетели и укрепления себя в истине, какие дают нам книги?

<...> если б я имел возможность выбора, я бы всегда предпочел видеть самую малую долю добрых дел, нежели сознавать в несколько раз сильнеешие насильственные препятствия к распространению зла. Для Бога, конечно, важнее успешное действие одного добродетельного человека, нежели воздержание десяти порочных¹⁴.

Как видим, в политической концепции Мильтона цензура отводилась значимая функция. Свобода воли и самовыражения противопоставляется не общественному и государственному благу и не покорности божьему промыслу. Антиподом всего перечисленного становится цензура, связанная с подавлением личности, тиранией и нарушением дарованных свыше человеческих прав. Идеальным воплощением «одного добродетельного человека», самостоятельно и вместе с тем согласно высшей воле совершающего «успешное

¹⁴ Мильтон Дж. Ареопагитика. С. 25.

действие», стал автор, свобода которого одновременно принадлежит лично ему, даруется свыше и санкционируется обществом. Автору и призвана была противостоять цензура, воплощающая тираническое подавление личности, нарушение божественного и человеческого порядка.

Таким образом, осуждение цензуры тесно связано с либеральной концепцией личности, предполагающей независимость и свободу частного человека как высшие ценности. Свобода слова в рамках этой концепции понималась как одно из фундаментальных прав каждого человека. Например, значение свободы слова подчеркивается в «Декларации прав человека и гражданина» (1789):

Свободная передача другим мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; посему всякий гражданин может свободно говорить, писать, печатать, под страхом ответственности за злоупотребление этой свободой в случаях, определенных Законом¹⁵.

В этом и подобных документах сформировалось само понимание цензуры как политического орудия государства и церкви, направленного против свободы человека и общества. Другие виды и формы цензуры редко принимались в расчет. Показательно, например, что Дени Дидро, один из наиболее последовательных критиков цензуры в эпоху Просвещения, вовсе не возражал против того, чтобы общество

¹⁵ Тексты важнейших основных законов иностранных государств. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1905. Ч. 1. С. 29.

налагало ограничения на свободу самовыражения писателей: очевидно, такие ограничения вообще не воспринимались им как цензура¹⁶.

В российских условиях понимание цензуры как орудия, с помощью которого государство лишает человека права на свободу слова, было хорошо известно. Первый перевод «Ареопагитики» на русский язык, который мы цитировали выше, издан в 1905 году, во время революции, и явно призван был способствовать отмене цензуры в Российской империи. Впрочем, и задолго до этого подобные взгляды были очень популярны. Разумеется, перечислить все высказывания на эту тему невозможно, так что мы ограничимся лишь несколькими яркими примерами. Указанные выше ключевые позиции, высказанные в «Ареопагитике» (убеждение в божественной природе свободы слова, ссылка на универсальную природу права, обвинение в тирании в адрес политической власти, ограничившей эту свободу), например, прямо высказаны в знаменитом стихотворении К. С. Аксакова «Свободное слово» (1854), которое обычно воспринимается как один из ключевых текстов в истории борьбы с цензурой:

Ты – чудо из Божьих чудес,
Ты – мысли светильник и пламя,

¹⁶ См.: *Duflo C. Diderot and the Publicizing of Censorship // The Use of Censorship in the Enlightenment. Leiden: Brill, 2009. P. 119–135.*

Ты – луч нам на землю с небес,
Ты нам человечества знамя!
Ты гонишь невежества ложь,
Ты вечною жизнью ново,
Ты к свету, ты к правде ведешь,
Свободное слово!

<...>

Вотще огражденья всегда
Власть ищет лишь в рабстве народа.
Где рабство – там бунт и беда;
Защита от бунта – свобода¹⁷.

Другой пример – стихотворение А. К. Толстого «Послание М. Н. Лонгинову о дарвинизме» (1872?), написанное в связи с попытками цензурного ведомства ограничить распространение сведений о теории эволюции. Толстой, опять же, убежден в том, что ограничение слова и мысли противоречит воле Бога, сделавшего человека свободным по собственному образу и подобию:

Если ж ты допустишь здраво,
Что вольны в науке мненья —
Твой контроль с какого права?
Был ли ты при Сотвореньи?

<...>

Способ, как творил Создатель,

¹⁷ Аксаков К. С. Собр. соч. и писем: В 10 т. Т. 1. Поэзия. Проза. СПб.: Росток, 2019. С. 184–185.

Что считал Он боле кстати —
Знать не может председатель
Комитета о печати¹⁸.

Разумеется, без ссылок на мнение Создателя ту же концепцию высказывал Н. П. Огарев, в стихотворном «Предисловии к „Колоколу“» (1857; впервые опубликовано в первом номере газеты «Колокол») отождествлявший свободу слова, свободу личности и политическую свободу:

В годину мрака и печали,
Как люди русские молчали,
Глас вопиющего в пустыне
Один раздался на чужбине;
Звучал на почве не родной —
Не ради прихоти пустой,
Не потому, что из боязни
Он укрывался бы от казни;
А потому, что здесь язык
К свободомыслию привык
И не касался окова
До человеческого слова¹⁹.

¹⁸ Толстой А. К. Полн. собр. соч. и писем: В 5 т. Т. 2. Лирика. Баллады... / Сост., подг. текстов, коммент. В. А. Котельникова, А. П. Дмитриева, Ю. М. Прозорова. М.: РИЦ «Классика», 2017. С. 82–83.

¹⁹ Огарев Н. П. Избр. произведения: В 2 т. Т. 1. Стихотворения. М.: ГИХЛ, 1956. С. 296.

Такое понимание цензуры связано, конечно, и с политическим порядком Нового времени, и вообще с модернистскими представлениями о человеке. Если тиранам нужно учредить цензуру, чтобы стеснять свободу слова частного человека, значит, эта свобода действительно по природе присуща частному человеку, который в своем творчестве выражает собственную, абсолютно свободную индивидуальность. Эта индивидуальность ограничивается прежде всего не за счет внутренних противоречий, не за счет столкновения с другими индивидуальностями и не в силу каких бы то ни было непреложных законов мироздания, а исключительно по произволу государственной или церковной власти, с которым автор может и должен бороться.

Поскольку цензура в таком восприятии оказывалась своего рода воплощением зла, она делалась удобной как форма прямого высказывания на политические темы. Мильтон (а следом за ним сотни других авторов, включая цитированных выше Аксакова и Толстого) ссылались на нее, критикуя политическую власть в своей стране. Другой вариант, представленный, например, у Огарева, – это контраст между «свободными» и «несвободными» государствами. В сложившемся еще в XVIII столетии противопоставлении Запада и Востока последнему приписывалось деспотичное ограничение свободы слова²⁰. В целом оно сохранялось и в сле-

²⁰ См., напр., на примере Восточной Европы: *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Пер. с англ. И.

дующем столетии. Так, в заметке «Необыкновенная история о ценсоре Гон-ча-ро из Ши-Пан-Ху» Герцен высмеивал Гончарова, ездившего в Японию якобы специально, чтобы потренироваться в выполнении цензорских обязанностей: «... где же можно лучше усовершенствоваться в цензурной хирургии, в искусстве заморения речи человеческой, как не в стране, не сказавшей ни одного слова с тех пор, как она обсохла после потопа?» (Герцен, т. 8, с. 104). Само собою разумеется, издатель «Колокола» и его читатели едва ли что-то знали о японской цензуре, однако были убеждены, что она не может не быть деспотичной: очевидно, здесь сказывалось типичное для образованных жителей Российской империи представление о «неподвижном Востоке», где нет и не может быть прогресса, а потому и свободной прессы²¹. Реальная ситуация была строго обратной: в Японии эпохи Эдо цензура осуществлялась непоследовательно и достаточно редко, причем по преимуществу в отношении лишь отдельных популярных видов искусства наподобие театра кабуки. Специальной должности цензора вообще не существовало. Напротив, последовательная цензура, опиравшаяся на систему репрессивных законов, была введена после реставрации Мейдзи, то

Федюкина. М.: Новое литературное обозрение, 2003. О российских представлениях по поводу «Востока» см., напр.: *Bassin M. Imperial Visions. Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge UP, 1999. P. 37–68.*

²¹ Об этом стереотипе, в том числе с примерами из Герцена, см.: *Bassin M. Imperial Visions... P. 50–55.*

есть в результате вестернизации Японии²². Иными словами, скорее японцы научились быть цензорами у Гончарова и его коллег, чем наоборот.

Свобода слова, как и политическая свобода, в этих условиях оказывается уделом не всех, а только определенной группы свободных людей: чтобы полноценно излагать свои мысли и воспринимать чужие высказывания, и автор, и читатель должны обладать какими-то качествами, делающими их достойными этого. В рамки принятого в XIX веке понимания цензуры с большим трудом укладывалось представление о том, что право на свободу высказывания должно принадлежать, например, не только совершеннолетним, хорошо образованным и здоровым владельцам обширной частной собственности. В частности, цензура театральных представлений, в интересующие нас времена доступных менее привилегированной публике, обычно воспринималась как более допустимая. Огарев, например, в цитированном выше стихотворении восторгается свободой слова в Великобритании, совершенно не принимая в расчет существования драматической цензуры, которая официально действовала в этой стране до 1968 (!) года²³. Еще более демократический кинематограф с момента своего появления стал объектом особых

²² См.: *Censorship, Media and Literary Culture in Japan: From Edo to Postwar* / Eds. T. Suzuki, H. Toeda, H. Hori, K. Munakata. Tōkyō: Shin'yōsha, 2012.

²³ См.: *Connolly L. W. The Censorship of English Drama. 1737–1824*. San Marino: The Huntington Library, 1976.

цензурных ограничений по всей Западной Европе и Северной Америке, что в целом не повлияло на репутацию соответствующих стран как цитаделей свободы. Определяя, кто именно заслужил право на «свободное слово», люди руководствовались множеством критериев, включая моральные, религиозные и гендерные. Например, в XIX веке в Испании существовала семейная цензура, запрещавшая жене публиковать что бы то ни было без письменного согласия мужа и поддерживавшаяся и государством, и церковью²⁴.

Это уравнение работало и в обратную сторону: если какие-то обстоятельства заставляли усомниться в политической свободе человека, трудно было счесть его адекватным автором или даже читателем. Именно это стало одной из причин всеобщих сомнений в способностях профессиональных цензоров адекватно воспринимать литературные произведения – даже если эти цензоры сами были крупными учеными, критиками или писателями. Здесь мы можем вновь сослаться на отзывы Герцена о Гончарове: хотя последнего высоко ценил, например, Белинский, Герцену это не помешало презрительно отзываться об «Обломове» – романе, который написал цензор.

Либеральная концепция цензуры была, таким образом, встроена в развитую систему представлений о личности, об-

²⁴ См.: *Gies D. T. Spain // The Frightful Stage: Political Censorship of the Theater in Nineteenth-Century Europe / Ed. R. J. Goldstein. New York; Oxford: Bergahn Books, 2009. P. 162–189.*

ществе и государстве. Неудивительно, что принципиальные критики этих представлений часто придерживались и иного взгляда на цензуру. Особенно резко подобная критика звучала в течение XX столетия. Разумеется, невозможным и бессмысленным занятием было бы разбирать все формы переосмысления цензуры; обратим внимание лишь на пару известных примеров.

Отказываясь от традиционных представлений об автономной и внутренне свободной личности, Зигмунд Фрейд использовал понятие «цензура» в совершенно ином значении: для него цензура не подавляет свободу самовыражения личности снаружи, а помещается внутри психики, блокируя и искажая некоторые воспоминания и приводя, в частности, к появлению снов. Словоупотребление Фрейда не было просто красивым выражением: напротив, он прямо утверждал, что психическая цензура, блокирующая некоторые воспоминания, работает схожим образом с правительственной цензурой:

Писателю приходится бояться цензуры, он умеряет и искажает поэтому выражение своего мнения. Смотря по силе и чувствительности этой цензуры он бывает вынужден либо сохранять лишь известные формы нападок, либо же выразиться намеками, либо же, наконец, скрывать свои нападки под какой-либо невинной маской. <...> Искажение в сновидении прибегает <...> к тем же приемам, что и цензура писем, вычеркивающая те места, которые кажутся

ей неподходящими. Цензура писем зачеркивает эти места настолько, что их невозможно прочесть, цензура сновидения заменяет их непонятным бормотаньем²⁵.

Роль цензуры необходимо было переосмыслить и в том случае, если критике подвергалась либеральная концепция репрессивной власти, наиболее ярким проявлением которой становилось ограничение свободы слова. Как писал Мишель Фуко в первом томе «Истории сексуальности», власть проявляется прежде всего вовсе не в подавлении и запрете свободного слова, а, напротив, в побуждении говорить, в требовании бесконечно обсуждать собственный опыт (в том числе сексуальный) и тем самым подчинять его определенным дискурсивным механизмам:

Целая сеть выведений в дискурс, сплетенная вокруг секса, выведений разнообразных, специфических и принудительных, – всеохватывающая цензура, берущая начало в благопристойностях речи, которые навязала классическая эпоха? Скорее – регулярное и полиморфное побуждение к дискурсам²⁶.

Можно привести и множество других примеров своеобразного ревизионистского подхода к цензуре, однако их объединяет прежде всего нежелание рассматривать само цензурное ведомство. И Фрейд, и Фуко, и прочие ничего ново-

²⁵ Фрейд З. Толкование сновидений. М.: Современные проблемы, 1913. С. 115.

²⁶ Фуко М. История сексуальности // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 132.

го не говорят о собственно официальной цензуре – государственной или церковной. В их концепциях цензура оказывается категорией столь многозначной и широкой, что может применяться к самым разным явлениям, таким как механизмы работы человеческой психики или дискурса, – но остается неясным, изменяет ли это хотя бы что-то в понимании цензуры как исторически конкретных ведомств.

Падение интереса к цензуре как организации во многом связано с политическими обстоятельствами. Ревизия либерального понимания цензуры едва ли могла проходить в условиях, когда вполне классическая, традиционная цензура продолжала активно действовать. Выше мы уже упоминали о том, что, например, в Великобритании драматическая цензура официально существовала до 1968 года; цензура кино продолжалась во многих странах в послевоенный период. Еще более существенной оказалась необходимость обсуждать цензурные репрессии в других странах, очень актуальная, например, во время холодной войны.

Пересмотр традиционных представлений о работе цензурных ведомств приходится прежде всего на вторую половину 1980-х и 1990-е годы – период, когда стало сложнее разграничивать более и менее свободные в отношении печати страны. В этом контексте свобода слова стала описываться не как универсальная, вечная ценность, а как результат определенного политического выбора, совершаемого в конкретных исторических обстоятельствах – и не только во времена

создания неких демократических институтов, а постоянно, многими (в пределе – всеми) представителями общества и государства²⁷. Такое понимание не могло не отразиться и на трактовке функций цензурного ведомства, которая, напомним, неотрывно связана с категорией свободы слова. Параллельно политическим процессам трансформировались и медиа: большинству наблюдателей стало совершенно очевидно, что традиционная цензура устарела. Поначалу многие наблюдатели воспринимали интернет как пространство абсолютной свободы слова. Такое ощущение оказалось ложным, однако традиционная цензура, казалось, уходила в прошлое²⁸.

Оппозиция «свободных» и «несвободных» в отношении печати государств также оказалась под сомнением. С одной стороны, это связано с увеличением географического масштаба: исследователи обратились, например, к таким непростым случаям, как печать в Израиле или Малайзии²⁹. С другой стороны, все большее внимание стали привлекать к себе такие виды и формы цензуры, которые трудно представить как репрессивную деятельность государства. В особен-

²⁷ См., напр.: *Fish S. There's No Such Thing as Free Speech and it's a Good Thing, Too.* New York; Oxford: Oxford UP, 1994.

²⁸ См.: *Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering.* MIT Press, 2008.

²⁹ См., напр.: *Censorship and Libel: The Chilling Effect* / Ed. T. McCormach. Greenwich, Conn.: London: JAI Press Inc., 1990; *Patterns Of Censorship Around The World* / Ed. I. Peleg. Boulder, CO; San Francisco; Oxford: Westview Press, 1993.

ности значимо в этой связи изучение американской цензуры, которая на протяжении значительной части своей истории осуществлялась независимыми от государства организациями, такими как общества по борьбе с пороком в 1920-е годы или различные религиозные организации, преимущественно на основании моральных критериев³⁰. В этих условиях вопрос, где проходит граница цензуры, оказался значительно сложнее: различные комментаторы высказывали самые разные точки зрения, например о том, может ли считаться актом цензуры запрет порнографического произведения, мотивированный защитой прав женщин, а соответственно – возможно ли в США запретить порнографию. Дело затруднялось очевидной связью вопроса о цензуре с другими культурными феноменами: например, в спорах о запрете порнографии необходимо оказалось определить, что такое порнография и действительно ли она угрожает правам женщин³¹.

Ревизия либеральной концепции цензуры проходила по нескольким направлениям. С одной стороны, авторы пытались деконструировать противопоставление власти и исти-

³⁰ См.: *Demac D. A. Liberty Denied: The Current Rise of Censorship in America / Preface by A. Miller, Intr. by L. McMurtry. New Brunswick; London: Rutgers UP, 1990; Garry P. An American Paradox: Censorship in a Nation of Free Speech. Westport, Conn.; London: Praeger Publishers, 1993; Boyer P. S. Purity in Print: Book Censorship in America from the Gilded Age to the Computer Age. 2nd ed. Madison: University of Wisconsin Press, 2003.*

³¹ См.: *Numanake A. W., Beasley M. H. Women, the First Amendment, and Pornography: An Historical Perspective // Censorship and Libel... P. 119–142; Boyer P. S. Purity in Print... P. 329–335.*

ны, понятой как свободное самовыражение личности, которую подавляют цензоры. Напротив, власть в таком понимании предстает не формой ограничения истины, а монополией на истину. Так, Сью Кэрри Янсен, ссылаясь на «Генеалогию морали» и другие произведения Фридриха Ницше, утверждает, что основная задача цензуры состоит не в стеснении, а в установлении и закреплении истины³². Понятая таким образом, цензура становится универсальным феноменом и может выражаться как в деятельности государства или церкви, так и в решении рынка. Соответственно, главным субъектом цензуры становится уже не церковь или государство, а общество как носитель определенных идей нормальности, подавляющий все отступающее от них³³. Отмена цензуры, таким образом, становится невозможной: исторические формы цензуры сменяют друг друга, однако сам этот институт сохраняется, хотя в ином виде.

С другой стороны, критике подвергалась бинарная оппо-

³² *Jansen S. C. Censorship. The Knot That Binds Power and Knowledge. New York; Oxford: Oxford UP, 1988.*

³³ См.: *Butler J. Ruled Out: Vocabularies of the Censor // Censorship and Silencing. Practices of Cultural Regulation / Ed. R. C. Post. Los Angeles: The Getty Research Institute, 1998. P. 247–259.* Как отмечает исследовательница, идея Батлер качественно отличается, например, от схожих высказываний Фуко: французский мыслитель в аналогичном контексте не упоминал о цензуре (см.: *Müller Beata. Censorship and Cultural Regulation: Mapping the Territory // Censorship & Cultural Regulation in the Modern Age (= Critical Studies, Vol. 22). Amsterdam; New York: Rodopi, 2004. P. 6.*) Схожие идеи, конечно, высказывали и другие авторы, например знаменитый социолог Пьер Бурдьё (см.: *Ibid. P. 7–9.*)

зияция между свободным самовыражением автора и ограничивающим это самовыражение давлением цензуры³⁴. Как отмечает Николас Харрисон, в действительности цензура далеко не только ограничивала неугодных авторов, идеи или дискурсы, но и оказывала поддержку и способствовала распространению определенных текстов. Что еще более важно, цензурный запрет далеко не означает какую-то особенную степень внутренней свободы запрещенного произведения. Помимо прочих причин, такая трактовка подразумевала бы исключительную проницательность и внутреннюю непротиворечивость позиции самих цензоров, за которыми признаётся способность абсолютно безошибочно и точно трактовать литературные произведения. Харрисон приводит в пример произведения де Сада, которые, с его точки зрения, едва ли можно охарактеризовать как выражение особого свободолюбия. Это вовсе не помешало возникновению сильной традиции трактовать де Сада именно как защитника свободы. Вероятно, русскоязычному исследователю в этом контексте показались бы более знакомыми ссылки на работу М. М. Бахтина о Ф. Рабле, где «народная культура» понимается как носительница свободного духа не в последнюю очередь потому, что противостоит официальным запретам. Оговорим, впрочем, сложность понимания цензуры у Бахтина, писавшего не только о внешней, но и о внутренней цензуре:

³⁴ *Harrison N. Circles of Censorship: Censorship and its Metaphors in French History, Literature, and Theory. Oxford UP, 1996.*

Смех безусловно был и внешней защитной формой. Он был легализован, он имел привилегии, он освобождал (в известной мере, конечно) от внешней цензуры, от внешних репрессий, от костра. <...> Он освобождает не только от внешней цензуры, но прежде всего – от большого *внутреннего цензора*, от тысячелетиями воспитанного в человеке страха перед священным, перед авторитарным запретом, перед прошлым, перед властью³⁵.

Именно оппозиция «страха перед властью» и «освобождения» и оказывается в центре деконструкции традиционного понятия цензуры. В конце концов, цензура (буквально цензурное ведомство) боролась, например, с порнографией, которую трудно признать выражением какой-то особой внутренней свободы.

Пожалуй, самым ярким выражением ревизионистского подхода к цензуре явилась подборка статей во влиятельном журнале PMLA, открывающаяся статьей Майкла Холквиста³⁶. Согласно мнению исследователя, основной функцией цензуры стало не запрещение, а поощрение к высказыванию. Победить таким образом понятую цензуру оказалось совершенно невозможно: у исследователя просто не было ника-

³⁵ *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 4 (2). М.: Языки славянских культур, 2011. С. 67.

³⁶ См.: *Holquist M.* Introduction: Corrupt Originals: The Paradox of Censorship // PMLA. 1994. Vol. 109. № 1. P. 14–25.

ких возможностей что бы то ни было предпринять по поводу цензуры, которая с неизбежностью встроена в структуру любой социальной коммуникации. Филолог, дающий любое истолкование любому тексту; редактор, вносящий любую правку в любой текст, – все эти люди оказываются носителями цензорской функции и ничего не могут этому противопоставить.

Подобного рода исследования³⁷, впрочем, в свою очередь довольно быстро стали объектом критики. Главный их недостаток, по мнению оппонентов, состоял в размывании понятия цензуры и обесценивании опыта людей, столкнувшихся с «классическим» ограничением свободы слова. Грубо говоря, и с интеллектуальной, и с этической точки зрения в высшей степени сомнительно объединение, с одной стороны, редактирования текста сотрудником издательства, а с другой – запретов на публикацию, ссылок и преследований со стороны властей:

Обесценивание понятия цензуры противоречит опыту тех людей, которые от нее пострадали. Авторам, издателям, книготорговцам и их посредникам отрезали носы, отрывали уши и обрубали руки, их заключали в колодки и клеймили каленым железом, приговаривали к многолетнему труду на галерах, расстреливали,

³⁷ Конечно, они не исчерпываются перечисленными работами. См. относительно краткий обзор: Müller B. *Censorship and Cultural Regulation...* P. 1–31.

вешали, отрубали им головы и сжигали на кострах³⁸.

Следом за другими современными авторами, включая процитированного выше Роберта Дарнтона, мы не считаем перспективной идеей полностью растворять цензуру в деятельности огромного количества других учреждений и личностей, влиявших на процессы производства и распространения тех или иных текстов. Такого рода исчезновение цензуры выглядело бы особенно странно на фоне современных тенденций к ее фактическому возвращению – не во фрейдовском или фукольддианском смысле, а в самом что ни на есть классическом виде – как репрессивного аппарата правительства. Вместе с тем мы вовсе не склонны утверждать, что опыт переосмысления цензуры оказался бесполезен. Это переосмысление сыграло огромную роль в развитии представлений о механизмах и внутренней логике работы цензурного ведомства, продемонстрировав многообразие социальных и культурных функций цензуры, тесную связь печати, литературы и цензуры и постоянное взаимодействие цензоров, критиков, издателей и прочих акторов литературного процесса. В этом смысле, конечно, нельзя просто сделать вид, что поворота последних десятилетий никогда не было. В

³⁸ Дарнтон Р. Цензоры за работой: Как государство формирует литературу. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 331. Ср. схожий аргумент против прямых аналогий между критиками и цензорами: McDonald P. 'That Monstrous Thing': The Critic as Censor in Apartheid South Africa // *Censorship and the Limits of the Literary. A Global View* / Ed. N. Moore. New York; London; New Dehli; Sydney: Bloomsbury Academic, 2015. P. 119–130.

качестве примеров продуктивности можно привести, например, уже указанную книгу Дарнтона или монографию Жака Ле Ридера, который описал сложное переплетение политических и культурных функций цензуры в Австро-Венгрии рубежа XIX–XX веков. В частности, французский историк показал, что фрейдовская концепция психологической цензуры напрямую связана с совершенно обыкновенной, государственной цензурой, через которую австрийскому психологу нужно было проводить свои сочинения³⁹.

³⁹ *Le Rider J. La Censure à l'œuvre. Freud, Kraus, Schnitzler, Paris: Hermann, 2015.*

Теоретические модели в историографии российской цензуры

Как кажется, теоретический пересмотр, о котором идет речь в этом разделе, практически не отразился в отечественной литературе о цензуре. Вообще, историография отечественной цензуры отличается исключительным объемом; каждый год выходит несколько книг на эту тему, и количество новых работ продолжает увеличиваться. Существование исключительно подробных обзоров литературы, посвященной истории цензурного ведомства, избавляет нас от необходимости посвятить этому вопросу несколько десятков страниц⁴⁰. Мы обратим внимание лишь на некоторые осо-

⁴⁰ См.: *Добровольский Л. М.* Библиографический обзор дореволюционной и советской литературы по истории русской цензуры // Труды Библиотеки Академии наук СССР и Фундаментальной библиотеки общественных наук Академии наук СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 5. С. 245–252; *Патрушева Н. Г.* 1) Изучение истории цензуры второй половины XIX – начала XX века в 1960–1990-е гг.: Библиографический обзор // Новое литературное обозрение. 1998. № 30. С. 425–438; 2) Исследования по истории дореволюционной цензуры в России, опубликованные в 1999–2009 гг.: Библиографический обзор // Цензура в России: история и современность: Сб. научных трудов. СПб.: Российская национальная библиотека; Санкт-Петербургский филиал Ин-та истории естествознания и техники РАН, 2011. Вып. 5. С. 358–376; 3) Исследования по истории дореволюционной цензуры в России, опубликованные в 2010–2020 гг.: Библиографический обзор // Цензура в России: история и современность: Сб. научных трудов. СПб.: Российская национальная библиотека; Санкт-Петербургский филиал Ин-та истории естествознания и техники РАН, 2021. С. 14–71.

бенности изучения российской цензуры.

Разумеется, внимательно работавшие с материалом истории цензуры неоднократно обращали внимание на неоднозначность и сложность отношений сотрудников этого ведомства и литераторов. Даже известный предвзятостью и склонностью к однозначным оценкам прошлого М. К. Лемке, работы которого были созданы задолго до всяческих попыток пересмотра истории цензурного ведомства, писал об этом. Правда, для Лемке такое положение вещей было скорее знаком слабости литературного сообщества:

...иногда, в те времена, когда над всем царствовал железный николаевский режим, не только представители этого последнего, но и самого цензурного ведомства имели на свободу печати более либеральный взгляд, чем некоторые писатели и ученые. Они нередко защищали право критики и право собственного мнения на каждое из явлений жизни и литературы <...> И этому нечего удивляться: еще менее можно негодовать по адресу писателей, не сознававших того, что не ясно всем еще и теперь. К фактам подобного рода надо относиться научно, исторически, и понимать, что все это так и *должно* было быть, что *не могло* быть иначе. <...> Страшное закрепощение человека и подчинение гражданина во всем государству николаевского склада не могло не создать крепостнических душ и умов⁴¹.

⁴¹ Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг.

С моралистическим пафосом осуждая людей прошлого за нарушение «правильных» отношений между писателями и цензорами, Лемке тем не менее вынужден признать, что само это нарушение естественно и неизбежно. Схожие убеждения будут появляться и у других авторов, таких как В. Е. Евгеньев-Максимов, критиковавший Гончарова за выполнение цензорских обязанностей (см. часть 1).

Естественно, не всех исследователей столкновение с историческим материалом приводило в состояние праведного негодования в адрес «крепостнических душ» русских литераторов. Чем больше автор хотел раскрыть реальную сложность и противоречивость цензорской работы, тем сложнее оказывалось выносить однозначные вердикты по тому или другому вопросу. Наверное, наиболее яркий пример – знаменитая книга В. Э. Вацуру и М. И. Гиллельсона, в которой отношения печати и цензуры трактуются как далеко не сводящиеся к репрессиям и запретам (разумеется, мы не хотим сказать, что авторы книги замалчивают цензурные запреты). В этом исследовании, в частности, можно было прочесть и о «цензоре без страха и упрека» С. Н. Глинке, изо всех сил способствовавшем изданию журнала Н. А. Полевого «Московский телеграф», и о чиновнике III отделения А. А. Ивановском, печатавшем сочинения декабристов и расследовавшем их преступления, и о многих других персонажах и со-

бытиях, едва ли вписывающихся в дихотомию свободы слова и цензуры⁴².

В постсоветскую эпоху история исследования российской цензуры определяется самыми разными процессами. С одной стороны, бинарное противопоставление свободы слова и цензуры стало казаться устаревшим и идеологически заряженным. В этом аспекте российская ситуация была во многом симметрична западной: если, например, американские авторы подчеркивали, что противопоставление советской цензуры западной свободе слова во многом скрывает реальные практики ограничения тех или иных дискурсов, то российские авторы по тем же причинам осуждали схожие манипулятивные конструкции советских лет:

Слово «цензура» тогда употреблялось только в отношении царской России и других так называемых капиталистических стран. Во многих предметных указателях наблюдается та же тенденция (есть лишь «Цензура в России», «Царская цензура», «Буржуазная цензура»). Сложилась парадоксальная ситуация: жесткая целенаправленная тотальная цензура господствовала, но де-факто ее якобы не было. Поэтому вопрос о недавнем прошлом советской цензуры вызывает особый интерес⁴³.

⁴² Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М.: Книга, 1986. С. 111–116, 8–16.

⁴³ Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. М.: Аспект Пресс, 2001. С. 7.

Вместе с тем очевидно, что из этой оппозиции следовали принципиально разные выводы. Советская цензура существовала не в виде рыночных механизмов или общественного давления, а именно как государственный репрессивный аппарат. Ревизия советских взглядов на цензуру подразумевала, что необходимо не обращаться к другим формам цензуры, а более внимательно рассматривать именно организацию цензурного ведомства, не анализировать его функции, а документированно фиксировать ранее скрывавшиеся отдельные акты репрессий, направленных против писателей. Такой подход применялся и к более ранним периодам. Неудивительно, что постсоветские историки цензуры Российской империи особенно тщательно анализировали именно организационную сторону этого ведомства: регулировавшие его деятельность законы, штаты и кадровый состав, связи с другими ведомствами. Подобного рода исследования прежде всего велись на основании ранее не собранных или небрежно опубликованных документов. Особенное значение здесь имеет деятельность Н. Г. Патрушевой и ее коллег, опубликовавших серию исследований и справочников по всем перечисленным вопросам, включая сборник законов и распоряжений о цензуре, биографический словарь сотрудников цензурных ведомств и исследования, посвященные эволюции цензурного ведомства⁴⁴. Объем материала,

⁴⁴ См.: Патрушева Н. Г., Фит И. П. Циркуляры цензурного ведомства Российской империи: Сб. документов / Науч. ред. Д. И. Раскин, ред. Г. А. Мамонтова.

введенный в оборот исследователями, позволяет создать новую, значительно более полную историю цензуры, от которой, конечно, придется отталкиваться исследователям⁴⁵. Выходили и другие публикации – так, Е. Н. Федяхина осуществила републикацию старинной книги Н. В. Дризена, причем в комментариях исследовательницы содержится огромное количество материалов из архива драматической цензуры, прежде всего докладов цензоров о рассмотренных пьесах, – в несколько раз больше, чем в самом тексте Дризена (см.: *Дризен; Федяхина*).

Историки последних лет ввели в оборот множество источников, не вписывающихся в традиционные представления о цензуре. Не пытаюсь перечислить исследования на эти темы, укажем лишь несколько примеров. В работе А. И. Рейтблата показано, что, рассматривая рассчитанные на «низового» читателя издания, цензоры отличались намного большей строгостью, чем обращаясь к «высокой» литературе, и причины для запретов зачастую выражались на языке таких же

СПб.: РНБ, 2016; Цензоры Российской империи, конец XVIII – начало XX века: Библиографический справочник / Рук. работы Н. Г. Патрушева; науч. ред. Д. И. Раскин; ред. М. А. Бенина. СПб.: РНБ, 2013; *Патрушева Н. Г.* Цензор в государственной системе дореволюционной России (вторая половина XIX – начало XX века) / Ред. М. А. Бенина. СПб.: Северная звезда, 2011 и мн. др.

⁴⁵ Разумеется, это не значит, что исследования цензурного ведомства на этом должны прекратиться. Существуют и другие, пока мало раскрытые темы исследований, а в указанных публикациях есть, конечно, и ошибки: например, в словаре цензоров не указан А. К. Гедерштерн, сотрудник III отделения, занимавшийся драматической цензурой.

эстетических категорий, что и осуждение «низовой» литературы в журнальной критике тех лет⁴⁶. Анализируя придворную цензуру, С. И. Григорьев продемонстрировал ее тесную связь с общими проблемами репрезентации образа монарха, включая вопросы коммерциализации этих образов (например, использования определения «царский» в наименовании разных продуктов)⁴⁷. А. С. Бодрова показала, что цензоры, издатели и авторы могли находиться в состоянии не только острого конфликта, но и своеобразного сотрудничества, помогая друг другу⁴⁸. В более поздних исследованиях она продемонстрировала тесную связь между цензурной деятельностью и политическими и общественными убеждениями цензоров, включая таких высокопоставленных, как А. С. Шишков⁴⁹. С. М. Волошина рассмотрела сложные взаимоотношения между журналистами и цензорами в никола-

⁴⁶ *Рейтблат А. И.* Цензура народных книг во второй четверти XIX века // *Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи.* М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 182–190.

⁴⁷ См.: *Григорьев С. И.* Придворная цензура и образ верховной власти (1831–1917). СПб.: Алетейя, 2007.

⁴⁸ См.: *Бодрова А. С.* О журнальных замыслах, чуткой цензуре и повседневном быте московских цензоров: из истории раннего «Москвитянина» // *Пермяковский сборник Ч. 2.* М.: Новое издательство, 2010. С. 350–371.

⁴⁹ См.: *Бодрова А. С.* 1) Цензурная политика А. С. Шишкова и история пушкинских изданий 1825–1826 годов // *Русская литература.* 2019. № 3. С. 63–73; 2) Поэт Языков, цензор Красовский и министр Шишков: К истории цензурной политики 1824–1825 годов // *Русская литература.* 2018. № 1. С. 35–51.

евскую эпоху⁵⁰. В рамках текстологии начали ставиться под сомнение выводы советских ученых, объяснявших цензурным вмешательством авторскую правку, которая противоречила их, ученых, политическим взглядам. Так, советские текстологи, ссылаясь на ничем не подтвержденное вмешательство цензуры, по рукописи восстановили в тексте «Капитанской дочки» деталь, отсутствующую в прижизненном издании и, вероятно, устраненную автором в силу исторического неправдоподобия: Гринев якобы был записан в Семеновский полк еще до рождения⁵¹.

Появление всех этих и многих других исследований, однако, мало повлияло на общее осмысление функций цензурного аппарата. Значимые теоретические работы не были переведены на русский язык, выводы их авторов практически не обсуждались в научной литературе (да и в публицистике), а русскоязычные исследователи рефлексировали о функциях цензуры лишь по поводу отдельных частных кейсов. Само по себе такое умолчание о большой проблеме едва ли сильно вредит анализу отдельных эпизодов из истории цензуры, но оно все же приводит к достаточно серьезным негативным последствиям. Во-первых, оно способствует отрыву разбо-

⁵⁰ Волошина С. М. Власть и журналистика: Николай I, Андрей Краевский и другие. М.: ИД «Дело», 2022.

⁵¹ См.: *Основат А. Л.* Когда был записан в гвардию Петруша Гринев? (К текстологии и историографии «Капитанской дочки») // Пушкинские чтения в Тарту 2: Материалы междунар. науч. конф. 18–20 сентября 1998 г. Тарту: Тартуский университет. Кафедра русской литературы, 2000. С. 216–227.

ров частных случаев от общеметодологической и теоретической рефлексии, вообще очень характерному для российской научной традиции, где «теоретики» и «историки» находятся в состоянии не сотрудничества, а конфликта. Во-вторых, на место серьезного обсуждения проблем цензуры подчас приходят сомнительного толка имитации критической рефлексии, которые обычно клонятся к признанию «неоднозначности» цензуры и – в конечном счете – к ее реабилитации. Ограничимся одной цитатой:

...крайне важно осознать суть этого явления и по большому счету не для того, чтобы в будущем не допустить его появления, а для того, чтобы иметь возможность использовать этот социальный институт на благо общества. И в этом утверждении нет противоречия, поскольку пресса конструирует образы социального мира и, так или иначе, внедряет их в сознание своей аудитории⁵².

В предлагаемой работе мы, с одной стороны, следуем вполне традиционному методу понимания цензуры и обращаемся к анализу ранее не изучавшихся архивных мате-

⁵² *Ярмолич Ф. К.* Цензура на Северо-Западе СССР. 1922–1964 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2010. С. 3. Ср. также недавнюю книгу, автор которой, в целом понимая сложность и многообразие отношений между писателями и цензорами, на этом основании приходит к абсурдным идеям, что многие цензоры Российской империи были тайными последователями декабристов и боролись с патриотическими и православными писателями (*Виноградов И. А.* Гоголь и цензура: Взаимоотношения художника и власти как ключевая проблема гоголевского наследия. М.: ИМЛИ РАН, 2021).

риалов по истории соответствующих государственных ведомств. С другой стороны, мы стремимся, учитывая достижения западной историографии, рассматривать эти материалы в контексте современных теоретических вопросов. Разумеется, мы едва ли можем разрешить сложные антиномии, характерные для описания цензуры. Вместе с тем мы надеемся, что нам удастся поставить некоторые вопросы, слишком редко занимающие исследователей российской цензуры.

Институт цензуры в Российской империи середины XIX века

Еще Юрген Хабермас в классической книге о «буржуазной публичной сфере» утверждал, что автономия от государства представляет собою неотъемлемую черту этого феномена⁵³. Руководствуясь представлениями о необходимости такой автономии, исследователи долго искали момент, когда же наконец российское общество (включая литературное сообщество) становится независимым от правительства. Очевидным образом, такие поиски были обречены на провал. Во-первых, совершенно неясно, когда же настал этот момент: при Екатерине II, во время масонских лож и независимых типографий⁵⁴, после наполеоновских войн, во время тайных обществ будущих декабристов⁵⁵ или в «замечательное десятилетие» 1840-х годов, во время философских и эстетических кружков⁵⁶. Во-вторых, если искать в россий-

⁵³ См.: *Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society / Trans. T. Burger with the assistance of F. Lawrence. Cambridge: The MIT Press, 1991. P. 73–88.*

⁵⁴ См.: *Смит Д. Работа над диким камнем...*

⁵⁵ См.: *Raeff M. Understanding Imperial Russia: State and Society in the Old Regime / Trans. by A. Goldhammer; Foreword by J. Keep. New York: Columbia UP, 1984.*

⁵⁶ См.: *Riasanovsky N. V. A Parting of Ways: Government and the Educated People in Russia. Oxford: Clarendon Press, 1976.*

ском обществе явления, аналогичные американскому и английскому, то получается, что никакой независимости от государства не было достигнуто даже перед революцией (хотя трудно себе представить, каким образом в этом случае революция вообще возможна); если же проводить аналогии с другими обществами, то выясняется, что отсутствие полного, абсолютного разделения общества и власти в это время было в целом скорее нормой, чем исключением⁵⁷.

История цензуры демонстрирует, что независимость или зависимость общества от государства не может быть раз и навсегда достигнута в ходе универсального прогресса или утрачена в результате случайного (или закономерного) отклонения от этого прогресса. Каждый раз эта (не)зависимость появляется как результат политического давления, тяжелой борьбы, сложных компромиссов и других процессов. Не стоит и абсолютизировать барьер между этими явлениями: далеко не всегда «общественное» и «государственное» можно легко отделить друг от друга, в исторической реальности они сложным образом переплетаются. Для нас актуальны работы последних лет, показывающие, что и в Российской империи, и в других государствах XVIII–XIX веков такой абсолютной автономии не было и не могло быть, и в действительности отношения между обществом и государством носили гибрид-

⁵⁷ К этим выводам пришло большинство авторов книги: *Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia* / Eds. E. W. Clowes, S. D. Kassow, J. L. West. Princeton: Princeton UP, 1991.

ный характер: в деятельности многих институтов невозможно провести четкую границу между этими образованиями⁵⁸. В нашей работе это будет показано прежде всего на примере деятельности Гончарова, в которой литературное творчество и цензорская служба оказываются неразделимы.

Помимо этого, для нас значимы исследования, в которых внимание переносится с «буржуазной публичной сферы», ограниченной узкими рамками образованных и состоятельных горожан, к альтернативным формам общественной организации. Особенно это актуально в связи с драматической цензурой и, соответственно, социальными функциями театра. Анализируя категорию «гражданское общество», Лутц Хефнер называет перспективным подходом не поиск в Российской империи институтов и форм социальной самоорганизации, которые соответствовали бы англо-американскому образцу, а анализ складывающихся в ее регионах местных сообществ и их трансформации и развития под воздействием новых медиа, в первую очередь – периодической печати⁵⁹. Разбирая, как соотносились литература и цензура, мы

⁵⁸ См., напр.: *Hohendahl P. U. Building a National Literature. The Case of Germany, 1830–1870.* Ithaca: Cornell UP, 1989; *Caradonna J. L. The Enlightenment in Practice: Academic Prize Contests and Intellectual Culture in France, 1670–1794.* Ithaca; London: Cornell UP, 2012; *Pravilova E. A Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in Imperial Russia.* Princeton; Oxford: Princeton UP, 2014.

⁵⁹ См.: *Хефнер Л. В поисках гражданского общества в самодержавной России. 1861–1914 гг.: Результаты международного исследования и методологические подходы // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Рос-*

попытаемся показать, что даже для столичных литераторов и цензоров местные сообщества оказывались исключительно значимы. Вместе с тем мы постараемся продемонстрировать роль медиа, таких как печать и театр, с которыми связано развитие общества в Российской империи. Рассуждая о непосредственном присутствии зрителей в театре, неизбежно приходится обратиться к конкретным региональным сообществам.

Правительственная цензура в некотором смысле может служить воплощением неоднозначных отношений между обществом и государством. С одной стороны, если цензура существует, литература очевидным образом не может быть до конца свободной и всегда в той или иной степени подчиняется внешнему контролю. С другой стороны, если государство вообще видит надобность в цензуре, это значит, что литература обладает определенной степенью независимости и способна хотя бы потенциально государству повредить. Именно об этой двойственности и свидетельствует, как кажется, история цензуры в Российской империи.

Централизация и периферийность

В Российской империи цензура была делом государственной важности и, как практически все дела такого масшта-

ба, находилась под тщательным контролем нескольких очень высокопоставленных чиновников, включая министров и руководство III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, то есть политической полиции, а в конечном счете императора. Об уровне, на котором принимались решения, свидетельствует хотя бы тот факт, что согласно цензурному уставу, с небольшими поправками действовавшему с 1828 по 1865 год, невозможно было открыть или закрыть периодическое издание «политического содержания», в том числе любой литературный журнал, без личного разрешения императора⁶⁰.

Цензура по самой своей природе была учреждением централизованным и централизующим. Особенно это заметно в середине XIX века. Цензурные комитеты, согласно принятому в 1828 году уставу, находились в Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Одессе, Вильне (современный Вильнюс) и Киеве; отдельные цензоры – в Ревеле (Таллинне), Дерпте (Тарту) и Казани⁶¹. Обилие соответствующих ведомств на западной окраине империи несомненно свидетельствовало о стремлении контролировать ввоз иностранных книг и печать на местных языках, а не о признании права этих регионов на книгоиздание. Перечисленные организации, впрочем, во всех значимых вопросах зависели от Главного управле-

⁶⁰ См.: Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: Тип. Морского министерства, 1862. С. 318.

⁶¹ См.: Там же. С. 319.

ния цензуры Министерства народного просвещения, а после цензурной реформы 1863–1865 годов – от Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел⁶². Ввоз изданий через границу определялся решением Комитета цензуры иностранной, также находящегося в Петербурге⁶³. К тому же за разрешением многих специальных вопросов общая цензура должна была обращаться к другим ведомствам, неизменно находившимся в столицах: Кавказскому комитету, Петербургскому и Московскому комитетам духовной цензуры при Синоде, отдельным министерствам и проч.

Театральная (драматическая) цензура, при всем своем своеобразии, управлялась схожим образом⁶⁴. Все публично

⁶² См. работу, во многом подтверждающую, что даже выходящая на западной окраине империи еврейская печать была тесно связана с центрами принятия решений в Петербурге: *Эльяшевич Д. А.* Правительственная политика и еврейская печать в России, 1797–1917: Очерки истории цензуры. СПб.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 1999.

⁶³ См.: *Tax Choldin M.* A Fence around the Empire: Russian Censorship of Western Ideas under the Tsars. Durham NC: Duke UP 1985; *Гусман Л. Ю.* История несостоявшейся реформы: Проекты преобразований цензуры иностранных изданий в России (1861–1881 гг.). М.: Вузовская книга, 2001; Комитет цензуры иностранной в Петербурге, 1828–1917: Документы и материалы / Сост. Н. А. Гринченко, Н. Г. Патрушева; науч. ред. Д. И. Раскин. СПб.: РНБ, 2006.

⁶⁴ Об истории театральной цензуры см. прежде всего: *Дризен Н. В.* Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. Пг.: Прометей, 1917; *Дризен; Федяхина.* Из новейшей литературы по этому вопросу см.: *Абакумов О. Ю.* Драматическая цензура и III отделение (конец 50-х – начало 60-х годов XIX века) // *Цензура в России: История и современность: Сб. науч. трудов. Вып. 1.* СПб.: РНБ, 2001. С. 66–76.

исполняемые произведения должны были получить разрешение в Санкт-Петербурге, до 1865 года – в III отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии, а после – в Совете министра внутренних дел по делам книгопечатания. Решения принимались часто на очень высоком уровне: до 1865 года такими вопросами занимался шеф жандармов, позже в них подчас вмешивался министр внутренних дел. Ставить пьесы на сцене можно было исключительно по копиям, полученным из специальной библиотеки при Александринском театре (ныне ее фонды хранятся в Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке). Технически говоря, ничто не мешало авторам или антрепренерам обратиться в столичную цензуру за разрешением, однако, по сути, такой порядок сковывал развитие прессы и театра за пределами центральных городов (за исключением немногочисленных изданий, преимущественно столичных, рассматривавшихся на местах, таких как губернские или епархиальные ведомства). Чтобы, например, жаловаться на решение одесского цензора, необходимо было обращаться в Санкт-Петербург и ждать ответа оттуда.

Вдвойне тяжелым было положение провинциальных антрепренеров. До отмены (лишь в 1882 году) так называемой театральной монополии в столицах частные театры были запрещены, а государственные, управлявшиеся Дирекцией императорских театров, получали финансирование из каз-

ны⁶⁵. Даже в тех случаях, когда драматическая цензура (с которой, конечно, высокопоставленным театральным чиновникам было намного проще договориться) запрещала императорскому театру то или иное произведение, совсем рядом существовал обширный запас других, уже разрешенных текстов. К тому же финансовые риски компенсировались за счет государственной поддержки. В этих условиях провинциальные частные театры (в столицах, напомним, могли существовать исключительно театры государственные), за исключением редчайших случаев, не обращались в цензуру за разрешением еще не поставленных пьес, а ориентировались на столичные репертуары.

Таким образом, цензура, с одной стороны, воплощала культурное неравенство центра и периферии империи, а с другой стороны – поддерживала это неравенство. Нет ничего удивительного в том, что наиболее заметные литературные и театральные события происходили в двух столицах, – напротив, эта тенденция связана с общей организацией цензурного ведомства, на которую не повлияли никакие реформы. В некотором смысле цензура, в отличие от многих собственно литературных явлений, не до конца поддается современным подходам, основанным на деконструкции представлений о решающем значении центра и на интересе к перифериям им-

⁶⁵ О театральной монополии и ее отмене в контексте национальной политики Александра III и экономических проблем императорских театров см. прежде всего: *Frame M. School for Citizens: Theatre and Civil Society in Imperial Russia*. New Haven: Yale UP, 2006.

перий⁶⁶: именно это ведомство как раз и участвовало в создании асимметричной ситуации, в которой центр оказывался важнее периферии.

Наше исследование, однако, призвано показать, что цензоры не преуспели до конца, не смогли полностью подчинить периферию центру. Вопреки их установкам, за пределами столиц империи происходили многие события, которые не только оказались в той или иной степени значимы для обитателей центра, но и повлияли на саму цензуру. В особенности важно это было для театральной жизни, где просто в силу самого медиа сверхвысокий уровень централизации был недостижим. В частности, мы покажем, как далеко не самая удачная постановка на театральной сцене Воронежа стала источником важных последствий, дошедших до самого императора и повлиявших на многочисленных столичных писателей и актеров (часть 2, глава 4). Другой пример будет связан с тем, насколько сложно было столичным цензорам описать происходящее на окраине Российской империи, в частности определить, кто именно посещал театры в Северо-Западном крае (часть 1, глава 3).

Помимо географической периферии, мы обращаемся и к фигурам, которые традиционно определяются как периферийные символически, лишенные возможностей самовыражения. Это особенно ярко проявлялось в области драмати-

⁶⁶ В контексте русской литературы см., напр.: *Lounsbury A. Life is Elsewhere: Symbolic Geography in the Russian Provinces*. Ithaca, NY: Cornell UP, 2019.

ческой цензуры, сотрудники которой не могли не думать о многочисленных посетителях зрительного зала, об их возможной реакции на увиденное на сцене, – и принимали решения исходя из своих представлений о том, какой может быть эта реакция. В этом смысле можно говорить о том, что за пределами публичной сферы цензоры, особенно сотрудники драматической цензуры, ощущали постоянное присутствие людей, исключенных из этого сообщества, лишенных публичного представительства, образования и доступа к возможностям выразить свое мнение. В этом смысле позиция цензоров была парадоксальной: они одновременно лишали этих людей голоса и пытались проговорить и предсказать их возможную точку зрения. Этот парадокс проявлялся не только в сфере цензуры народных театров, зрители которых были заведомо лишены возможности публично выразить свое мнение⁶⁷. Напротив, любой цензор в той или иной степени имел дело с самыми разными представителями публики, реакцию которых на публикации и особенно на постановки он должен был предугадать.

Двунаправленное влияние: цензоры, публика и литераторы

В первую очередь мы будем рассматривать цензуру не как

⁶⁷ См.: Swift A. E. Popular Theater and Society in Tsarist Russia. Berkeley: University of California Press, 2002.

бюрократическую организацию, а как социальный институт, который был неотделим от литературной жизни в Российской империи. Самоочевидно и не стоит обсуждения, что основной целью цензуры было от имени государства влиять на литературу и общество. Мы, однако, попытаемся показать, что реальные действия цензоров не до конца вписываются в эту схему. Практика цензурного ведомства быстро дала понять, что невозможно обсуждать литературные проблемы, не испытывая, в свою очередь, общественного давления. Цензоры не мыслили себя исключительно винтиками в государственном аппарате: они, как, например, Гончаров, считали себя представителями образованной общественности и пытались найти в ней свое место. Хотя механизмы обратной связи между литературой и цензурой в Российской империи были едва разработаны, цензоры, принимающие решения, чувствовали сильное давление со стороны литераторов.

Сотрудники цензурного ведомства, как мы попытаемся показать, не могли полагаться исключительно на букву законов и распоряжений, но обращались также к собственному эстетическому вкусу и представлениям о морали, которые, разумеется, определялись не столько приказами начальства, сколько другими людьми, среди которых цензоры жили. В частности, цензурный устав 1828 года, с некоторыми поправками действовавший до реформ 1860-х годов, требовал запрещать произведения, отклонявшиеся от норм «нрав-

ственного приличия»⁶⁸, однако нигде не определял, как отделять нравственное от безнравственного. С одной стороны, это открывало простор для злоупотреблений и применения двойных стандартов, с другой – по определению ставило цензоров в зависимость от меняющихся общественных представлений о морали. Высочайше утвержденный доклад министра народного просвещения от 16 февраля 1852 года требовал, чтобы цензоры проявляли осторожность, исключая фрагменты из сочинений «известных наших писателей»⁶⁹. Вместе с тем доклад нигде не определял, как установить, какой писатель считается известным, что оставляло цензора под влиянием литературных критиков. Тем самым складывалась парадоксальная ситуация: технически говоря, сотрудники цензуры должны были влиять на общество, а в особенности на сообщество литераторов; на самом же деле связь между ними оказалась двунаправленной. В отличие от Майкла Холквиста и некоторых других исследователей (см. выше), мы вовсе не пытаемся доказать, что, например, литературные и театральные критики, по сути, занимались цензурой. Однако мы убеждены, что невозможно объективно рассматривать цензурные отзывы вне контекста тех представлений о литературе, эстетических и нравственных ценностях

⁶⁸ Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: Тип. Морского министерства, 1862. С. 317.

⁶⁹ Там же. С. 281; *Патрушева Н. Г., Фит И. П.* Циркуляры цензурного ведомства Российской империи: Сб. документов. СПб.: РНБ, 2016. С. 96.

и принципах интерпретации, которые существовали в обществе. Разумеется, предполагается, что эти ценности и принципы не совпадали у разных социальных групп и в разные исторические периоды и становились предметом обсуждений и дискуссий, в которых цензоры не могли не участвовать.

Ограничимся одним примером. В Новый год, 31 декабря 1862 года, цензор драматических сочинений И. А. Нордстрем вместо праздника занимался ответственным делом – он писал отзыв на новую пьесу А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет». Он завершил ее характеристику следующими словами:

Эта новейшая пьеса талантливого нашего драматурга Островского, появления которой с нетерпением ожидает публика, есть отчасти картина того же «темного царства», которое изображалось им в прошлых его пьесах, и вместе с тем она во многом напоминает не одобренную к представлению драму Писемского «Горькая судьбина»⁷⁰.

Приводя аргументы за и против пьесы Островского (начальство, очевидно, в соответствии с мнением самого цензора сочло аргументы за более весомыми и разрешило постановку), Нордстрем проводил аналогию с уже запрещенной пьесой, однако попытался оправдать драматурга, ссылаясь на эстетическую осмысленность предложенного им ре-

⁷⁰ РГИА. Ф. 780. Оп. 1. № 39. Л. 206 – 206 об. Подчеркнуто в оригинале.

шения: мрачная драма, посвященная измене и женоубийству, оказалась осмыслена за счет своей эстетической цели. Более того, раз «темное царство», по словам Нордстрема, уже изображалось Островским во вполне разрешенных пьесах, значит, можно было дозволить и очередное произведение на ту же тему.

Подбирая формулировки, чтобы определить смысл творчества Островского, Нордстрем воспользовался выражением из знаменитых статей Н. А. Добролюбова. На первый взгляд, это может показаться совершенно неожиданным выбором. В 1862 году Добролюбов, умерший годом ранее, действительно стал очень известен: был опубликован двухтомник сочинений критика. Поскольку многие статьи Добролюбова печатались под псевдонимами, до этого издания средний читатель, не входящий в литературные круги, мог не осознавать, какие статьи принадлежали этому критику. Имя Добролюбова прославилось благодаря его старшему другу и единомышленнику Н. Г. Чернышевскому, ставшему главным создателем своеобразного посмертного культа критика⁷¹. Проблема была в том, что в конце 1862 года Чернышевский находился в Петропавловской крепости по политическому обвинению, сфабрикованному тем самым III отделением собственной Его Императорского Величества канцеля-

⁷¹ См.: *Вдовин А. В. Добролюбов. Разночинец между духов и плотью.* М.: Молодая гвардия, 2017.

рии, где служил Нордстрем⁷². Казалось бы, серьезные ссылки на Добролюбова в сочинениях сотрудников драматической цензуры встречаться не должны – однако Нордстрему это, как видим, не мешало.

Очевидно, причина не в каком-то особенном уважении цензора к Добролюбову и Чернышевскому, а в значении литературной критики как института, разрабатывавшего общепринятые эстетические и социальные категории. «Темное царство» было популярной и влиятельной характеристикой творчества Островского, на которую удобно было ссылаться. В этом смысле Нордстрему было в целом неважно, каких именно политических взглядов придерживался цитированный им критик, – важно было то, что образованный и следящий за современной литературой российский читатель этого времени мыслил теми категориями, которые ему предложила критика. Цензор в этом смысле не был исключением.

Повседневное и исключительное

Подход к цензуре как к социальному институту предполагает интерес к повседневной ее работе. В большинстве исследований цензурное вмешательство описывается как нечто исключительное, нарушающее «нормальный» по-

⁷² См. самое подробное исследование: Дело Чернышевского: Сб. документов / Подгот. текста, введ. статья и коммент. И. В. Пороха; общ. ред. Н. М. Чернышевской. Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1968.

рядок функционирования литературы. В действительности, однако, цензоры и писатели взаимодействовали постоянно, и нельзя было вообразить литератора, который сочинял без оглядки на возможное вмешательство «со стороны». Можно было бы сказать, что исключение составляют неподцензурные публикации, наподобие изданий Вольной русской типографии Герцена, но сама идея печататься у Герцена, то есть без цензуры, была уже значимым политическим и эстетическим выбором, а вовсе не типичным писательским поведением. Далее мы покажем, как эстетические, политические и социальные представления цензоров влияли на литературный процесс – и наоборот.

В большинстве случаев исследователей намного больше интересуют запрещенные цензурой издания, а не разрешенные⁷³. Разумеется, разбор истории запретов выглядит обычно значительно более драматичным и увлекательным, тем более что часто сопровождается сложными интригами, попытками писателя оправдаться или обмануть цензоров и проч. Однако в действительности любому, даже самому строгому и придирчивому, цензору Российской империи разрешать произведения приходилось значительно чаще, чем запрещать. Вместе с тем подавляющему большинству писателей – по крайней мере, создавших несколько про-

⁷³ См., напр.: *Лемке М. К.* Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб.: Тип. Санкт-Петербургского т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1904.

изведений – волей-неволей нужно было проводить свои сочинения через цензуру, а не биться о цензурные запреты. Таким образом, любой анализ того, что цензура запретила, бесполезен без изучения того, что она разрешила. Как мы увидим далее (см. часть 2, главу 2), подчас само по себе разрешение может оказаться неожиданностью и послужить для значимых выводов.

Ориентируясь по преимуществу на повседневную работу цензуры, необходимо обратить внимание на специфическую форму, в которой нам доступны источники. Несмотря на обилие отчетов, формулярных списков и прочих документов, описывающих обычную, регулярную работу цензурного ведомства, предпочтение обычно отдается текстам намного более ярким, имеющим определенную нарративную форму – форму исторического анекдота. В российских источниках XIX века такой анекдот (имеющий мало общего с современным фольклорным жанром) определяется как рассказ о неожиданной, парадоксальной новости⁷⁴. Одна из основных особенностей анекдота как жанра – «моделирование неожиданной, трудно представимой ситуации» и при этом изображение ее как реальной и даже вполне вероятной⁷⁵. Анекдоты служат едва ли не основной формой репрезентации истории цензуры XIX века в источниках, не относящихся к

⁷⁴ См.: Мельниченко М. Советский анекдот: Указатель сюжетов. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 7–8.

⁷⁵ Курганов Е. Анекдот как жанр. СПб.: Академический проект, 1997. С. 30–31.

официальному делопроизводству: письма, дневники, воспоминания, эпиграммы и сатирические сочинения, посвященные цензорам, пестрят изложением забавных и поразительных историй, касающихся исключительной предосторожности, чрезмерной бдительности, абсурдных критериев оценки произведения со стороны причастных к цензурному аппарату лиц – от рядового цензора до императора. Очевидно, дело здесь не только в популярности анекдотов в мемуарной литературе, но и в специфике жанра, который оказался едва ли не идеальной формой рассказа о столкновении с цензурой с точки зрения представителя литературного поля.

Такой подход к цензуре во многом восходит к отзывам современников, таких как цензор Никитенко, дневник которого до сих пор служит одним из важнейших источников по истории литературы. В форме анекдотов Никитенко излагал по преимуществу события, пришедшиеся на время николаевского царствования. Причины установить нетрудно: непредсказуемое, произвольное развитие событий в анекдоте можно понимать как действие непостижимой для нормального человека, нелепой силы. Роль личности, индивидуальной воли в анекдотах Никитенко всегда оказывается крайне невелика: и писатели, и цензоры становятся жертвами общего положения вещей в стране, губительного как для них, так и для России в целом. Так, в пространной записи от 12 декабря 1842 года излагается история, когда решение императора по цензурному ведомству оказалось абсолютно неожиданным и

непредсказуемым не только для Никитенко и его коллеги по цензурному комитету, но даже для управляющего III отделением и члена Главного управления цензуры Л. В. Дубельта:

Неожиданное и нелепое приключение, которое заслуживает подробного описания. Вчера утром, около двенадцати часов, я вернулся с лекции из Екатерининского института и, ничего не подозревая, преспокойно занимался у себя в кабинете. Вдруг является жандармский офицер и в отборных выражениях просит пожаловать к Леонтию Васильевичу Дубельту.

<...>

Нас ввели к Дубельту.

– Ах, мои милые, – сказал он, взяв нас за руки, – как мне грустно встретиться с вами по такому неприятному случаю. Но думайте сколько хотите, – продолжал он, – вы никак не догадаетесь, почему государь недоволен вами.

С этими словами он открыл восьмой номер «Сына отечества» и указал на два места, отмеченные карандашом. <...>

<...> теперь я вижу, что настоящий случай равняется кому снега с крыши, который на вас валится, когда вы идете по тротуару. Против таких взысканий нет ни заслуг, их предупреждающих, ни предосторожностей, потому что они выходят из ряда дел разумных, из круга человеческой логики (*Никитенко*, т. 1, с. 252–253).

Финальные фразы цитированного эпизода близки к заме-

чанию из «Былого и дум» Герцена, описывающего неожиданный визит жандарма от А. Ф. Орлова: «Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову...» (*Герцен*, т. 9, с. 221). Герцен, разумеется, вряд ли мог знать о содержании неопубликованного дневника Никитенко; тем не менее совпадение достаточно показательное: общая логика анекдотического рассказа о нелепости социального устройства николаевской России объединяет пострадавшего по службе цензора и политического эмигранта, активного противника российского правительства.

Если учесть эти обстоятельства, намного яснее становится снижение количества «анекдотов» о цензуре в дневнике Никитенко начала царствования Александра II. Подготовка реформ воспринималась им как возвращение к нормальному, «естественному» ходу исторических событий. В этой связи анекдоты более не были нужны Никитенко. Даже, казалось бы, содержащие очевидный потенциал для превращения в смешную и неожиданную историю эпизоды уже не разворачиваются в анекдот. В качестве примера можно привести два описания цензурных злоключений, постигших одно и то же произведение при Николае I и Александре II. 5 марта 1841 года Никитенко записал:

Некто <И. Е.> Великопольский, псевдоним Ивельев, написал драму «Янетерской». Она плоха и сверх того безнравственна и полна сценами и выражениями, которые у нас не допускаются в печати. По непонятному

недоразумению она, однако, была пропущена цензором Ольдекопом. Лишь только драма вышла из печати и попала в руки министру, он немедленно отрешил от должности цензора и велел повсюду отобрать экземпляры ее и сжечь. Сегодня в одиннадцать часов утра состоялось это аутодафе, при котором велено было присутствовать мне и Куторге. Вот, однако, два хорошие поступка: Великопольский, узнав о несчастье, постигшем по его милости цензора, предложил последнему 3000 рублей, чтобы тому было на что жить, пока он найдет себе другое место. Ольдекоп отказался (*Никитенко*, т. 1, с. 229).

Разумеется, этот эпизод вполне анекдотичен, особенно его финал, где «хорошие поступки» пострадавших автора и цензора отменяют друг друга. Другой рассказ о драме Великопольского появляется в дневнике намного позже, 5 марта 1864 года:

В Совете по делам печати два мои доклада: один о нелепейшей драме известного литературного чудака Великопольского «Янетерской», которая была в 1839 году напечатана с разрешения цензора Ольдекопа, ее не читавшего, и сейчас после того отобрана у автора и сожжена в присутствии моем и покойного Стефана Куторги. Теперь он решился ее снова пустить в свет и представил рукопись в цензуру. В этой пьесе автор собрал все мерзости, все нравственные искажения, которыми позорит себя род человеческий, – воровство в разных видах, прелюбодеяние, сводничество матери

дочерью, смертоубийство, самоубийство, покушение на кровосмешение и пр., и все это намалевал грязнейшими красками. В предисловии он говорит, что делает это для того, чтобы разительными изображениями порока отучить от него людей; но выходит, что у него омерзителен не порок, а сами эти изображения. Я, разумеется, хотел избавить литературу нашу от стыда замараться этим гадким произведением и полагал не позволять <драмы> к напечатанию, основываясь на прежнем ее запрещении, хотя автор и исключил из нее рескрипт царствовавшего государя с подписью *Николай*, сочиненный самим г. Великопольским и в котором будто бы государь изъявляет свое прощение и милость Щукину, отчаянному дуэлисту. Совет согласился со мною беспрекословно (*Никитенко*, т. 2, с. 415–416).

В этом рассказе все ощущение несообразности создается подробным описанием «нелепейшей драмы», тогда как поведение самого Никитенко и других членов Совета оказывается оправданным как с точки зрения цензуры, так и с позиций литературы, которую благодетельный Совет по делам печати защищает «от стыда замараться этим гадким произведением». Литература и цензура в целом уже существуют в рамках одной логики, и их столкновение не служит источником неожиданностей.

Однако в конечном счете репрезентация истории цензуры в виде анекдотов оказалась намного более продуктивной

нарративной моделью. Об этом свидетельствуют не только многие воспоминания, авторы которых излагали свой опыт столкновения с цензурой 1870-х годов в том же ключе, что сам Никитенко – историю своей деятельности в николаевскую эпоху⁷⁶, но и научная история цензуры, которая зачастую строится как изложение регламентирующих документов и правил, перемежающееся разбором «анекдотов».

Если для ранних историков цензуры⁷⁷, не всегда имевших возможность работать с массивом архивных ведомственных документов, дневник Никитенко, как и другие источники личного происхождения, вынужденно служили главной фактической базой, то современные исследователи литературы и цензуры и их взаимодействия черпают из него скорее материал для проблемных case studies, к которым располагает сама нарративная структура анекдота. Естественным предметом комментария и контекстуализации становится заданная анекдотом противоречивая, с первого взгляда кажущаяся непонятной ситуация, прояснить которую можно только за счет реконструкции всего комплекса взаимодействующих

⁷⁶ Особенно часто героем таких рассказов становился одесский цензор А. К. Воронич, известный среди прочего тем, что запрещал печатать столичных писателей и дописывал фрагменты в рассматриваемые им произведения (см.: *Кауфман А. Е. Журнальное страсотерпство // Цензура в России в конце XIX – начале XX века: Сб. воспоминаний / Сост. Н. Г. Патрушева. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 160–173; 164).*

⁷⁷ См., например, *Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. С. 328–368.* Исследователь излагает историю Негласного комитета, которую сам Никитенко воспроизводил в форме анекдотов.

актеров и полей⁷⁸. Разумеется, историки общественной и политической истории России уже неоднократно обращались к этой стороне деятельности цензуры, однако в историко-литературных исследованиях такой подход до сих пор остается редкостью. Причина тому – вполне понятное стремление исследователей уделить больше внимания именно «литературной» стороне конфликта, для которой намного удобнее было представлять столкновения с цензурой в качестве аномальных, странных явлений.

Анекдот как нарративная форма явно неспособен передать другую сторону истории цензуры – ее повседневность, рутинные практики: обыденное, ежедневное взаимодействие писателей, редакторов и цензоров уже не поддается описанию в этой форме, предполагающей единичность, экзотический процесс, нарушение системы ожиданий. Очевидно, «анекдотический» нарратив может быть лишь частью истории взаимодействия литературного и цензурного ведомств. Может быть, из ежемесячных подсчетов, сколько страниц и листов рассмотрел какой сотрудник цензурного комитета, намного труднее вывести что бы то ни было значимое относительно влияния цензуры на литературное сообщество, чем из эф-

⁷⁸ См., напр., статью, описывающую отразившийся в дневнике Никитенко в виде двух анекдотов (*Никитенко*, т. 1, с. 269–273) сложный конфликт, который разгорелся вокруг театральных рецензий: *Федотов А. С.* Межведомственные проблемы театральной цензуры в николаевское царствование: случаи 1843–1844 годов // *Русская филология*. 24. Сб. научных работ молодых филологов. Тарту: Tartu Ülikooli kirjastus, 2013. С. 33–42.

эффектных повествований о столкновениях цензоров и писателей. Тем не менее «скучная» сторона также должна приниматься в расчет. В этом исследовании мы попытаемся, в частности, соотнести эффектные эпизоды, относящиеся к деятельности Гончарова-цензора, и сохранившиеся документальные сведения о его «нормальной» службе.

Типичный российский цензор был прежде всего не смехотворным мракобесом, душившим свободу слова, а погрязшим в бюрократических процедурах чиновником и чаще думал о соблюдении многочисленных гласных и негласных законов и правил и о возможности получить награждение за отличную службу, чем о больших политических или эстетических вопросах. Точно так же и для профессиональных писателей взаимодействие с цензурой было не исключительным моментом, а частью повседневной жизни.

Именно бюрократический характер цензуры объясняет постоянные высказывания о ее нелепости и абсурдности, встречающиеся в самых разных источниках. Действительно, столкнувшись с делопроизводством любого официального учреждения Российской империи, неподготовленный читатель может решить, что никакого смысла в этих документах нет и быть не может. Тем более не понимали принципов принятия цензорских решений многочисленные писатели, не посвященные ни во внутренний распорядок, ни во многие правила работы цензуры. Даже цензоры из другого ведомства могли не понимать, по каким принципам действует,

например, Комитет 2 апреля 1848 года – достаточно вспомнить высказывания того же Никитенко:

...тот же самый Бутурлин действует в качестве председателя какого-то высшего, негласного комитета по цензуре и действует так, что становится невозможным что бы то ни было писать и печатать. <... > <В. И.> Далю запрещено писать. Как? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю! Неужели и он попал в коммунисты и социалисты? (*Никитенко*, т. 1, с. 312; запись от 1 декабря 1848 года)

Все это, однако, не свидетельствует о полной «бессмысленности» цензуры: будучи малоэффективным и непригодным для контактов с литературным сообществом, административный аппарат российской цензуры все же подчинялся определенной логике, которую можно восстановить. Мы попытаемся сделать это в отношении запрета комедии Островского «Свои люди – сочтемся!», который обычно описывается как одно из самых нелепых решений российской цензуры эпохи Николая I. Логика цензоров, как мы покажем, была не столько абсурдна, сколько недоступна большинству участников литературного процесса – как в силу плохого знакомства писателей с бюрократическим аппаратом российского государства, так и в силу полной непрозрачности цензурного ведомства и принципов принятия решений (особенно это относится к драматической цензуре: авторы пьес подчас даже не знали, кто и за что запрещал ставить

их произведения).

Более того, цензоры в большинстве своем («нелепые» коллеги, на которых в дневнике жалуется Никитенко, все же были редкостью) довольно неплохо понимали то, что рассматривали. Разумеется, в цензуре служило некоторое количество некомпетентных чиновников, но это вовсе не было закономерностью, тем более что руководство ведомства стремилось от них избавиться. Скажем, когда богобоязненный цензор Воронич запретил печатать в «Одесском листке» сведения, что протодьякон на юбилее архиепископа Никанора возгласил многолетие государю императору и всему царствующему дому, руководитель Главного управления по делам печати при Министерстве внутренних дел Е. М. Феокистов, вовсе не отличавшийся либерализмом, немедленно распорядился назначить в газету другого цензора⁷⁹. Характеристика цензоров как компетентных читателей относится не только к писателям типа Гончарова, но и, например, к драматическим цензорам, которые, как мы покажем, очень неплохо понимали пьесы Островского и других авторов.

Наше принципиальное нежелание рассматривать цензоров как ограниченных и глупых людей имеет под собою и этические основания. Мы убеждены, что цензура плоха во все не в силу нехватки интеллектуальных способностей у занимающихся ею людей. В цензоры могли идти и шли самые

⁷⁹ См.: *Егоров А. Е.* Страницы из прожитого // *Цензура в России в конце XIX – начале XX века.* С. 146–147.

разные люди, в том числе хорошо образованные и способные найти скрытый смысл рассматриваемых ими сочинений отнюдь не хуже современного исследователя. Проблема цензоров вовсе не в том, что они не понимают литературных произведений, а в том, что они существуют.

Российский и международный контекст

Эволюция цензуры в Российской империи неотделима от меняющихся представлений о политических и общественных функциях литературы и театра. В XVIII–XIX веках развитие театральной и читающей публики было тесно связано с формированием критического общественного мнения, которое, с точки зрения представителей государства, нуждалось в контроле. По крайней мере, для образованных людей того времени театр и литература прямо участвовали в формировании хотя бы относительно автономной от государства публичной сферы. Характеризуя позицию Г. Э. Лессинга и других литераторов его времени, Люциан Хёльшер писал:

По мере того как общение между образованными людьми происходило все интенсивнее, складывалось впечатление, что фикция публики, вершащей свой суд, постепенно превращается в реальность <...> возросшая активность публики способствовала тому, что литературно образованная буржуазия стала по-новому воспринимать себя – как некое публичное

единство, не связанное с политическим строем <... > Посредством взаимной критики всех «граждан» этой «республики» публика делала саму себя субъектом «общества», основным законом которого была возможность свободного участия в его жизни, открытая для всех его членов⁸⁰.

В Российской империи соответствующие процессы происходили хронологически позже, с постепенным распространением современных медиа, таких как журналы, газеты и театр. Цензура неизбежно должна была подстраиваться под формирование новой публики и искать способы с нею взаимодействовать.

По преимуществу эта работа посвящена двум десятилетиям из истории цензуры – 1850–1860-м годам. За это время и литература, и театр, и цензурное ведомство пережили кардинальные трансформации, связанные с общими модернизационными процессами, характерными для стремительно глобализирующегося мира этого периода⁸¹. Последние го-

⁸⁰ Хёльшер Л. Публичность / гласность / публичная сфера / общественность (Öffentlichkeit) // Словарь основных исторических понятий: Избр. статьи: В 2 т. Т. 1 / Пер. с нем. К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, И. Ширле; науч. ред. перевода Ю. Арнаутова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 334.

⁸¹ Далее в этом разделе излагаются широко известные сведения по истории русской цензуры. Мы опираемся прежде всего на следующие работы: *Жирков Г. В.* История цензуры в России XIX–XX вв. М.: Аспект Пресс, 2001; *Ruud C. A.* Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804–1906. Toronto: University of Toronto Press, 2009; *Патрушева Н. Г.* Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX – начале XX

ды царствования Николая I, так называемое мрачное семилетие, следовавшее за европейскими революциями 1848 года, отметились исключительной жесткостью во внутренней политике. Высшая власть стремилась контролировать не только прессу посредством цензуры, но и саму цензуру посредством секретного Комитета 2 апреля 1848 года, внушившего современникам, включая цензоров, «панический страх» (*Никитенко*, т. 1, с. 311, запись от 25 апреля 1848 года)⁸². В сочетании с ограничением числа периодических изданий (император не разрешал открывать новых) российская печать оставалась фактически лишена самостоятельности, за исключением узкой сферы эстетических вопросов.

После воцарения Александра II сложившиеся при его предшественнике механизмы цензуры переставали эффективно работать. В это время печать, больше не ограниченная распоряжением императора, переживала настоящий бум: в прессе разрешено было прямо обсуждать некоторые

века. СПб.: Северная звезда, 2013.

⁸² См. анализ одного случая из истории этого комитета в ч. 2, гл. 1. Подробнее о его работе см.: *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература... С. 175–227; *Старкова Л. К.* «Цензурный террор», 1848–1855 гг. Саратов: Изд-во Саратовского пед. ин-та, 2000; *Шевченко М. М.* Конец одного Величия: Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М.: Три квадрата, 2003. С. 122–159; История Комитета 2 апреля 1848 года в документах / Публ. Н. А. Гринченко // *Цензура в России: История и современность: Сб. науч. трудов. Вып. 3.* СПб.: РНБ; Санкт-Петербургский филиал Ин-та истории естествознания и техники РАН, 2006. С. 224–246; *Волошина С. М.* Власть и журналистика... С. 420–637.

политические проблемы, открывались десятки новых периодических изданий, их суммарный тираж стремительно рос, как и количество читателей. Соответственно, литература в этих условиях воспринималась как значимый фактор политической и общественной жизни. Еще более активно развивалось сценическое искусство: несмотря на театральную монополию в столицах, в Российской империи появлялось все больше частных театров, стремительно росли количество и влияние театральных газет и журналов⁸³.

Цензура должна была радикально трансформироваться, чтобы прийти в соответствие с новой ситуацией: практически с середины 1850-х по середину 1860-х годов идет подготовка реформы, в ходе которой вместо покровительственной модели, в рамках которой цензор воспринимался скорее как воспитатель публики, была введена полицейская цензура, где цензор должен был расследовать и карать нарушения законов. При Николае в цензурном ведомстве действовала архаичная установка, согласно которой государство не противостоит обществу, а представляет собою механизм, создающий достойных его членов⁸⁴. Напротив, в интересующую

⁸³ Королев Д. Г. Очерки из истории издания и распространения театральной книги в России XIX – начала XX веков. СПб.: РНБ, 1999. С. 64–82.

⁸⁴ См. об этой установке на материале текстов XVIII века: *Каплун В. Л.* Общество до общности: «общество» и «гражданское общество» в культуре российского Просвещения // От общественного к публичному: Коллективная монография / Науч. ред. О. В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2011. С. 395–486.

нас эпоху постепенно (как мы увидим в части 1, далеко не быстро) складывалось представление о принципиальной оппозиции государства и общества, воплощением которой и стало цензурное ведомство.

Эта смена парадигмы реализовалась сразу на нескольких уровнях. На уровне ведомственном основной организацией, отвечавшей за цензуру, стало не Министерство народного просвещения, а Министерство внутренних дел – тем самым цензор оказался ближе к полицейскому, чем к преподавателю. Многочисленные цензурные организации николаевского периода, включая драматическую цензуру III отделения, были ликвидированы, за исключением очень специфических ведомств наподобие придворной или духовной цензуры⁸⁵. На уровне кадровом были отправлены в отставку наиболее одиозные сотрудники цензуры, на место которых пришли люди с другими, более современными представлениями о взаимоотношениях государства и общества, в том числе Ф. И. Тютчев, ставший председателем Комитета цензуры

⁸⁵ Литература об этих организациях не отличается обилием (см. прежде всего: Григорьев С. И. Придворная цензура и образ Верховной власти (1831–1917). СПб.: Алетейя, 2007; Котович А. Духовная цензура в России (1799–1855 гг.). СПб.: Тип. «Родник», 1909; Карпук Д. А. 1) Духовная цензура в Российской Империи в середине XIX века (на примере деятельности Санкт-Петербургского Духовного цензурного комитета) // Труды Перервинской православной духовной семинарии: Научно-богословский ж-л. 2012. № 6. С. 46–74; 2) Духовная цензура в России во второй половине XIX в. (по материалам фонда Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета) // Христианское чтение. 2015. № 2. С. 210–251).

иностранный, и И. А. Гончаров⁸⁶. На уровне организации работы всеобщая предварительная цензура, от которой были освобождены лишь издания некоторых государственных ведомств наподобие Академии наук, была частично заменена карательной. Это изменение отразило важный сдвиг в юридической и административной практике: с появлением независимых судов стало возможно наказывать издателей и писателей с помощью не административных мер, а судебного преследования.

В новых условиях представители российского государства постепенно начали иначе мыслить собственное место в публичной коммуникации. Если раньше они стремились покровительствовать всем ее участникам и оставаться над схваткой, то в 1860-е годы ситуация до некоторой степени приблизилась к партийной полемике: теперь государство в лице министра внутренних дел и его подчиненных выбирало между несколькими журнальными «партиями» и решало, какую из них будет поддерживать⁸⁷. В условиях стремительного ро-

⁸⁶ О Тютчеве как либеральном цензоре см. прежде всего: *Жирков Г. В.* «Но мыслью обнял все, что на пути заметил...» // У мысли стоя на часах...: Цензоры России и цензура / Под ред. Г. В. Жиркова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 100–158. К сожалению, автор этой ценной работы позже опубликовал еще одну статью о Тютчеве и цензуре, содержащую предложение ввести цензуру в современной России: *Жирков Г. В.* Особенности деятельности Комитета цензуры иностранной при Ф. И. Тютчеве // *Цензура в России: История и современность: Сб. науч. тр.* Вып. 2. СПб.: РНБ, 2005. С. 107–116.

⁸⁷ См.: *Чернуха В. Г.* Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы XIX века. Л.: Наука, 1989; *Патрушева Н. Г.* Теория «нравственного

ста числа периодических изданий правительство не могло себе позволить заниматься полным контролем всей литературной продукции. В этой связи стратегической задачей цензуры стало, пользуясь выражением того времени, «положительное» отношение к литературе, то есть не полный запрет всех неугодных мнений, а скорее поддержка угодных, достигавшаяся за счет комплекса мер, включавших цензурные послабления (как мы увидим, в 1863 году ими пользовался, например, «Русский вестник» Каткова), тайные субсидии (их в глубокой тайне получал «Голос» Краевского) и организация официальных изданий (таких, как газета «Северная почта») ⁸⁸.

Российская империя, включая ее цензуру, была частью большого мира, и вне этого мира понять ее непросто. Если судить по результатам компаративных исследований, российские цензоры XIX века принципиально не отличались от своих коллег из Франции, Австро-Венгрии или Испании ⁸⁹.

влияния» на общественное мнение в правительственной политике в отношении печати в 1860-е гг. // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века: Сб. науч. тр. Вып. 7. СПб.: РНБ, 1994. С. 112–125.

⁸⁸ См.: *Лемке М.* Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов. СПб.: Типо-лит. «Герольд», 1904. С. 239–245; *Герасимова Ю. И.* Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х – начала 1860-х гг. М.: Книга, 1974. С. 89–90; *Russo P. A.* *Golos, 1878–1883: Profile of a Russian Newspaper.* New York: Columbia UP, 1974. P. 23–25; *Чернуха В. Г.* Правительственная политика в отношении печати... С. 41–45, 106–111.

⁸⁹ См. прежде всего: *The War for the Public Mind: Political Censorship in Nineteenth-Century Europe* / Ed. R. J. Goldstein. Westport, Connecticut; London:

Долгое время у цензурного ведомства Российской империи была репутация наиболее репрессивной организации, уникальной на фоне других стран. Во многом это связано с уже упоминавшимися стереотипными представлениями о Востоке и Западе. В действительности и прямое заимствование зарубежного опыта, и во многом схожие социально-политические обстоятельства приводили к значительным сходствам между цензурными аппаратами разных государств. Цензура во всех европейских странах занималась по преимуществу регулированием публичной коммуникации, которая велась с помощью современных медиа: показательно, например, что распространение рукописей цензоров не интересовало, за исключением колониальных территорий, наподобие индийских владений Британской империи⁹⁰.

Если в отношении обеспеченной и респектабельной публики, которая благодаря институтам публичной сферы, таким как периодическая пресса, клубы и кофейни, поддерживала определенный стиль поведения и общения, цензура рассчитывала на хотя бы условный консенсус, то принадлежавшие к «низшим» классам посетители театров могли среагировать на постановку совершенно неожиданным (и подчас деструктивным) образом. Цензоры по всему континенту, видимо, хорошо знали, что бельгийская революция 1830 го-

Praeger, 2000; *The Frightful Stage: Political Censorship of the Theater in Nineteenth-Century Europe* / Ed. R. J. Goldstein. New York; Oxford: Bergahn Books, 2009.

⁹⁰ См.: *Дарнтон Р.* Цензоры за работой: Как государство формирует литературу. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 121–206.

да началась с беспорядков, вспыхнувших после постановки оперы Д. Обера «Немая из Портичи». Следя за нравственностью репертуара, европейские цензоры, как и многие влиятельные литераторы и философы, надеялись поспособствовать поддержанию общественного порядка, а в перспективе – интеграции всех посетителей театров в единое и хорошо организованное национальное сообщество, объединенное нравственными и политическими нормами, усвоенными благодаря сцене.

Схожими в разных странах были и конкретные причины, по которым полагалось запрещать литературные или сценические произведения. К ним относились, в частности, критика государственного строя, религии, возбуждение классовых и сословных противоречий, «безнравственность» (хотя под этим понятием подчас понимались разные вещи). Зачастую к цензурованию литературных произведений привлекались собственно писатели как носители своеобразного экспертного знания – так дела обстояли не только в Российской империи, но и в немецкоязычных странах, включая Пруссию. Подчас можно говорить о прямом заимствовании некоторых юридических принципов. Скажем, во Франции при Наполеоне III, несмотря на отсутствие предварительной цензуры, одним из основных инструментов давления на прессу стали внушительные залоги, требовавшиеся с издателей и не возвращавшиеся после закрытия изданий за нарушения правил печати. Вероятно, принципы карательной цензуры, вве-

денные в Российской империи после реформы 1860-х годов, опирались на французский образец.

На этом фоне очень четко вырисовываются различия между цензурными аппаратами в разных государствах. Незначительный уровень грамотности в Российской империи делал печать значительно менее влиятельной, что отражалось на порядке работы цензоров. В первой части работы мы увидим, что в российских условиях концепция цензора как своеобразного посредника между правительством и обществом продержалась значительно дольше, чем в немецкоязычных странах. Во второй части мы продемонстрируем разницу между отношением российских и английских цензоров к драматургии: если в Российской империи особе монарха и его сценической репрезентации уделялось намного больше внимания, чем в Британской, то викторианская цензура оказалась значительно строже в отношении «непристойностей». Так или иначе, российская цензура не существовала в изоляции, и вне контекста сходств и различий с другими аналогичными ведомствами обсуждать ее едва ли имеет смысл.

Предмет и структура работы

В этой книге рассказывается прежде всего о двух писателях-современниках: Иване Гончарове и Александре Островском – и их взаимоотношениях с цензурным ведомством. Сам выбор этих фигур был в некотором смысле случайным – схожие проблемы проявились бы и в деятельности других литераторов и цензоров. Две истории, которые мы расскажем, значимы далеко не только для биографий этих авторов: в них, как кажется, отражаются некоторые закономерности и противоречия, возникшие в отношениях между государством и образованным обществом в Российской империи середины XIX века. Один из наших героев почти десять лет прослужил в цензурном ведомстве, к немалому удивлению и раздражению многих литераторов, считавших невозможным сотрудничество с карательным учреждением. Другой, напротив, начал свой творческий путь столкновением с цензурой, а вместе с нею и с императором Николаем I, и впоследствии неоднократно становился предметом пристального внимания цензоров. Истории этих двоих людей сложным образом переплетаются и позволяют с разных сторон увидеть, как были связаны цензурное ведомство и литературное сообщество и как характер их связей постепенно менялся.

В силу особенностей нашего подхода (см. предыдущий раздел) в принципе любой эпизод из истории цензуры может

стать в той или иной степени показательным: важны для нас не только запреты, но и разрешения, не только необъяснимые на первый взгляд события, но и вполне рутинные бюрократические практики. По этой причине наша книга не может претендовать на полное изложение всех проблем, связанных со службой Гончарова в цензуре или с тем, как цензура рассматривала пьесы Островского. Мы попытаемся сосредоточиться на нескольких случаях, значимых как для характеристики института цензуры и его трансформаций, так и для литературной эволюции в Российской империи. В некоторых из этих случаев Гончаров и Островский не играли важной роли. Такие экскурсы мы делаем именно для того, чтобы показать, что истории наших героев были не самодостаточны, а погружены в общие процессы, где значимую роль играли самые разные люди, от императора до воронежского антрепренера, от редактора столичного журнала до газетного хроникера.

Мы не ставили себе задачу выносить моральную оценку действиям наших героев. Но сама тема, конечно, предполагает определенную связь с этическими вопросами: служба в цензуре оценивалась и оценивается как выбор в этом отношении далеко не нейтральный. В этой связи мы пытались, опираясь на высказывания самих авторов и современников, реконструировать, каким образом могли выглядеть действия и решения наших героев в контексте их эпохи.

Две истории, которым посвящены две части этой книги,

в целом независимы друг от друга, но подчас пересекаются. Причиной тому – исторические события, на фоне которых они происходили. Ни цензор, ни жертва цензуры не могли пройти мимо отмены крепостного права, Январского восстания в Польше или первых выступлений российских революционеров. Тем не менее каждая из историй вполне самостоятельна, так что читать их можно по отдельности, скорее как дополняющие друг друга и создающие объемную картину исторических событий.

Наша работа во многом посвящена не только истории цензуры, но и творчеству Гончарова и Островского. В этом нет никакого парадокса: деятельность цензурного ведомства, как мы покажем, существенно важна для понимания и романа Гончарова «Обрыв», и политического аспекта драматургии 1850–1860-х годов. В той или иной степени обе части книги отклоняются от привычного описания деятельности цензуры как репрессий цензоров против писателей и рисуют более сложную картину. В первой части речь идет о литераторе, который по собственной воле служил в цензуре; во второй – о том, что в деятельности цензуры, помимо цензоров и писателей, участвуют и многие другие лица, в том числе такие редкие в работах о цензуре фигуры, как читатели и зрители театров.

Первая часть нашей работы посвящена Гончарову. В ней мы пытаемся ответить на вопрос, почему крупный и успешный писатель стал цензором и как это могло повлиять на

его творчество, в особенности на роман «Обрыв», написанный вскоре после отставки. В значительной степени она посвящена политике цензурного ведомства, бюрократическим интригам и планам его руководства – а также тому, как эти, казалось бы, унылые и внелитературные вещи влияли на русский классический роман. В первой главе этой части рассматривается исторический контекст решения Гончарова стать цензором и последствиям этого решения: мы анализируем изменения в цензурном ведомстве 1850-х годов, их связь со служебной карьерой и творчеством Гончарова, его попытки поучаствовать в этих изменениях. Мы подробно разберем и бюрократическую рутину, с которой столкнулся писатель и которая мешала его замыслам. После этого следует экскурс 1, посвященный восприятию цензуры петербургскими литераторами. Анализируя реакцию на известный случай с запретом на републикацию в «Современнике» стихотворений Некрасова, мы покажем, что цензура в эту эпоху воспринималась вовсе не как принципиальный противник литературного сообщества, а скорее как участник продуктивного диалога с государством. Вторая глава посвящена месту Гончарова в попытках реформировать цензурное ведомство в либеральном духе, которые предпринимались на рубеже 1850–1860-х годов. Анализируя место писателя в этих – в основном неудачных – попытках, мы продемонстрируем, что Гончаров стремился изменить базовые принципы кадровой политики и повседневной рабо-

ты цензурного ведомства, пытаюсь приблизить их к своим представлениям об отношениях между литературой и цензурой. Второй экскурс, следующий далее, описывает, как министр внутренних дел Валуев, руководитель Гончарова в новой, наконец-то преобразившейся цензуре, пытался покровительствовать писателям, которых считал политически полезными. Валуевский подход, хотя и кажущийся сейчас образцом вмешательства государства в литературные дела, в свое время мог представляться эффективным и полезным. Третья глава посвящена деятельности Гончарова в ведомстве Валуева, где писатель, достигший высоких постов в цензуре, пытался решать сложные и ответственные вопросы. Первым из них была проблема, каким образом изображать жителей Северо-Западного края, обладавшего собственной уникальной религиозной, языковой и этнической спецификой. Вторым стал вопрос о методах и формах полемики с «нигилизмом», которую Гончаров пытался, как мы покажем, вести с помощью гласных средств, не сводившихся к административному регулированию прессы. Наконец, в четвертой главе показано, как опыт службы в цензуре повлиял на изображение «нигилизма» в «Обрыве»: хотя Гончарову-цензору и не удалось выступить независимым и корректным судьей радикальных демократов типа Писарева, Гончаров-романист стремился это сделать, и это сказалось на уникальной поэтике его последнего романа.

Вторая часть, в которой речь идет об Островском, скорее

сосредоточена на представлениях о публике, которые возникали в воображении русских драматургов второй половины XIX века, и на том, как эти образы связаны с деятельностью сотрудников драматической цензуры, пытавшихся контролировать театральную жизнь империи. Первая глава посвящена рассмотрению пьес «Свои люди – сочтемся!» и «Воспитанница». Анализируя возникший по поводу первой из них конфликт между разными цензурными ведомствами, мы покажем, как цензурные запреты неожиданным образом способствовали становлению репутации Островского как выдающегося писателя. Во второй главе речь идет о разрешении для постановки пьесы «Гроза». Помещая это решение в контекст деятельности европейских цензоров того времени, мы демонстрируем, как менялись представления о «приличиях», о социально и культурно приемлемом в истории российской цензуры середины XIX века. Экскурс 3 посвящен попыткам цензоров контролировать изображение чиновников в драматических произведениях. Рассматривая автоцензуру в пьесе Островского «Доходное место» и запрет пьесы Сухово-Кобылина «Дело», мы демонстрируем, что даже образованные и компетентные цензоры и писатели, лишённые нормальной коммуникации, могли совершать и совершали грубейшие ошибки, не понимая намерений и задач друг друга. В третьей главе речь идет о запрете и разрешении исторической хроники «Козьма Захарыч Минин, Суворук». Это до сих пор не вполне ясное решение мы связываем с

проблемами регионализма и соответственно воображаемого пространства в пьесах о Минине. Изображая один из ключевых моментов национальной мифологии Российской империи, драматурги, как кажется, вольно или невольно ставили под сомнение ее базовые основания, в том числе представление о внутреннем единстве населения страны. Экскурс 4 описывает попытки учредить посредничающую между государством и обществом инстанцию – Театрально-литературный комитет. Рассматривая наложенный им на одну из комедий Островского запрет, мы показываем, как эта инстанция быстро превратилась в орудие политического контроля, по-своему не уступающее цензуре. Наконец, последняя, четвертая глава второй части описывает попытки цензоров контролировать репрезентацию монархической власти на сцене Российской империи на материале серии пьес разных авторов об Иване Грозном, сложную связь между эстетическим и политическим в действиях цензоров и неудачу, которая их ждала в итоге.

Часть 1. Гончаров: писатель как цензор, цензор как писатель

Почему писатели часто становятся цензорами? Этот вопрос, конечно, в общем виде не имеет ответа, однако часто беспокоит и современников, и историков. В этой части мы рассмотрим историю одного такого сотрудничества и покажем, что служба в цензурном ведомстве не сводится ни к измене высоким идеалам свободного творчества, ни к низкой прозе, на фоне которой торжествует литературный талант. В нашем случае, по крайней мере, отделить писателя от цензора не столь просто.

Иван Гончаров (1812–1891) во многом выделялся на фоне русских писателей середины XIX века. Он не был ни помещиком, как Лев Толстой или Тургенев, ни разночинцем, как Чернышевский или Помяловский: Гончаров происходил из купеческого рода, а дворянство выслужил, получив соответствующий чин. Разумеется, подавляющее большинство русских писателей могло похвастаться классным чином по Табели о рангах⁹¹. Однако у Гончарова чин этот был необычайно высок: он вышел в отставку действительным статским советником – чин IV ранга, эквивалентный, например, гене-

⁹¹ См.: *Reyffman I. How Russia Learned to Write: Literature and the Imperial Table of Ranks. Madison: University of Wisconsin Press, 2016.*

рал-майору в армии⁹². Средства к существованию Гончаров по преимуществу получал не от поместий, которых у него никогда не было, и не от профессиональной литературной деятельности: несмотря на внушительные гонорары, публиковался он редко. Писатель зарабатывал службой, которой занимался около тридцати лет, при этом с 1856 по 1860 год и с 1863 по 1867-й он служил в цензурном ведомстве: сначала рядовым членом Петербургского цензурного комитета, а потом, после длительного перерыва, уже на значительно более ответственном посту, в Совете министра внутренних дел по делам печати, а позже – в пришедшем ему на смену Совете Главного управления по делам печати, то есть в высших органах, отвечавших за цензуру Министерства внутренних дел. Конечно, немаловажную роль в решении Гончарова сыграли возможности получать чины и жалованье⁹³. Помимо чинов и жалованья, служба в цензуре могла принести писателю определенную репутацию в правительственных и литературных кругах.

⁹² Общие сведения о службе Гончарова см.: *Суперанский М. Ф.* Материалы для биографии И. А. Гончарова // *Огни: История и литература* / Ред. Е. А. Ляцкого, Б. Л. Модзалевского, А. А. Сиверса. Пг., 1916. Кн. 1. С. 176–178; *Алексеев А. Д.* Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960; *Котельников*.

⁹³ См., напр., письмо Е. В. Толстой от 23 декабря 1855 года: «Место – старшего цензора, то есть русской цензуры, – с тремя тысячами руб. жалованья и с 10 000 хлопот» (*Гончаров И. А.* Нимфодора Ивановна: Повесть. Избр. письма / Сост., подгот. текста и коммент. О. А. Марфиной-Демиховской и Е. К. Демиховской. Псков: ПОИУУ, 1992. С. 137).

«Чиновничество» Гончарова, а в особенности служба в цензуре, производило неприятное впечатление на многих его современников. Так, в феврале 1857 года А. Ф. Писемский сообщал Островскому: «Друг наш Ив. Ал. Гончаров окончательно стал походить на дядю в его „Обыкновенной истории“ и производит на меня такой страх, что мне и встретиться с ним тяжело» (*Писемский*, с. 105). Поскольку Гончаров, в отличие от героя его романа «Обыкновенная история», не был преуспевающим заводчиком, остается предположить, что Писемский имел в виду что-то чиновничье в словах и взглядах писателя и его персонажа. С откровенной неприязнью представлен Гончаров-чиновник в воспоминаниях А. М. Скабичевского: «истый бюрократ и в своей жизни, и в своих романах с их бюрократическими идеалами, Адуевым и Штольцем»⁹⁴.

В отличие от Скабичевского исследователи редко интересовались проблемой «бюрократического идеала» в романах Гончарова, однако проявили намного больше внимания к совмещению в его деятельности двух, казалось бы, совершенно противоречащих друг другу ролей: писателя и цензора. Для дореволюционных и советских авторов такого рода служба была, конечно, пятном на биографии писателя, смыть которое было нелегко. Особенно резко высказывался на этот счет В. Е. Евгеньев-Максимов, публиковавший гончаровские цензорские документы и до, и после революции.

⁹⁴ *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.; Л.: ЗиФ, 1928. С. 113.

С его точки зрения, служба в цензуре, особенно под началом министра внутренних дел П. А. Валуева, по определению была изменой литературе и моральным компромиссом:

...будущие деятели главного управления по делам печати должны были понимать, что, поступая на службу в это учреждение, они вряд ли окажутся в состоянии послужить, хотя бы в слабой степени, делу русского свободного слова, а вместе с ним и делу прогресса. Впрочем, позволительно сомневаться, чтобы они и думали об этом. Валуев ведь знал, кого берет в совет главного управления, а брал он в первую голову тех, кто годился в послушные исполнители его предначертаний...⁹⁵

Авторы более поздних работ следовали той же логике, пытаясь продемонстрировать, что позиция цензора и позиция писателя в случае Гончарова не противоречат друг другу. Так, В. А. Котельников полагал, что Гончаров-цензор в целом выражал консервативные взгляды вполне умеренного толка, которых придерживался и в жизни, и в творчестве:

...понятно, какое возмущение у него – не только как у цензора, но и как у писателя и частного человека, к христианской традиции принадлежавшего, – должен был вызвать тот, например, факт, что в статье Д. И. Писарева «Исторические идеи Огюста Конта» содержится «явное отрицание святости происхождения

⁹⁵ *Евгеньев-Максимов В. Е. И. А. Гончаров как член совета главного управления по делам печати // Голос минувшего. 1916. № 11. С. 121.*

и значения христианской религии»... (Котельников, с. 444)⁹⁶

Мы разделяем точку зрения исследователей служебной деятельности Гончарова, которые вместо поиска возможностей обвинить или оправдать писателя предложили сосредоточиться на том, каким сложным образом взаимодействовали его служебная и литературная ипостаси:

...служебная деятельность Гончарова была источником сюжетов, образов, прототипов, характеристик, то есть была не только помехой, но и материалом, инструментом и одним из многочисленных компонентов творчества, определяющих его своеобразие и оригинальность <... > Гончаров-чиновник помогал Гончарову-писателю. Очевидно, верно и обратное: литературный дар и репутация крупного писателя во многом предопределили карьерную траекторию Гончарова⁹⁷.

Нас будут интересовать именно такие пересечения «цензурского» и «литературного» в творчестве Гончарова. Нам представляется, что их проблемное описание полезно не только для понимания биографии и творчества писателя, но и для понимания общих механизмов работы и социальных функций цензуры.

⁹⁶ См. о реакции Гончарова на эту статью в главе 3 части 1.

⁹⁷ Гуськов С. Н. О служебном и творческом у Гончарова // Чины и музы: Сб. статей / Отв. ред. С. Н. Гуськов. СПб.; Тверь: Изд-во М. Батасовой, 2017. С. 305.

Когда в конце 1855 года И. А. Гончаров согласился стать членом Петербургского цензурного комитета, это вызвало острое недовольство многих его современников (см.: *Котельников*, с. 438–439)⁹⁸. Основной его мотивацией стала, судя по всему, убежденность, что совмещать общественные роли литератора и цензора невозможно. Сам Гончаров такого понимания своего общественного положения в это время не разделял, хотя и осознавал его причины. Реагируя на резкую критику в свой адрес на страницах герценовского «Колокола», Гончаров писал А. А. Краевскому:

Хотя в лондонском издании, как я слышал, меня царапают, да и не меня, а будто всех русских литераторов, но я этим не смущаюсь, ибо знаю, что если б я написал черт знает что, – и тогда бы пощады мне никакой не было за одно только мое звание и должность (*Мазон*, с. 30).

Судя по этому письму, Гончаров не видел противоречия между своими «званием и должностью» и ролью «русского литератора». Однако к середине 1870-х годов отношение писателя к собственной цензурской службе изменилось. В написанной в это время «Необыкновенной истории» он прямо заявлял, что цензурская служба и литературная деятельность совмещались с большим трудом:

⁹⁸ См. также публикацию еще одного отзыва: *Бодрова А. С., Зубков К. Ю.* Дух и детали: Практики цензурного чтения и общественный статус цензора в предреформенную эпоху (случай И. А. Гончарова) // *Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik*. 2020. Т. 65. № 1. С. 123–141.

Писать было моей страстью. Но я служил – по необходимости (да еще потом цензором, Господи прости!), ездил вокруг света – и кроме пера, должен был заботиться о добывании содержания!⁹⁹

Гончаров подчеркивал, что его служба в цензуре носила исключительно вынужденный характер:

Я должен был служить, жить, следовательно, по недостатку средств в Петербурге, в неблагоприятном для пера климате, что не было у меня ни деревни, ни денег жить за границей, как у Толстых, Тургенева...¹⁰⁰

Итак, в период между 1850-ми и 1870-ми годами мнение писателя относительно возможности совмещать роли цензора и литератора совершенно изменилось. Разумеется, до некоторой степени можно объяснить эту перемену личными обстоятельствами Гончарова: если в 1850-е годы автор «Обыкновенной истории» и «Обломова» не сомневался в собственной значимости для литературного поля, то после выхода «Обрыва», не принятого критикой, после конфликта с Тургеневым, показавшего уязвимость творческих достижений и литературной репутации Гончарова для плагиаторов, писатель уже не был уверен в своем значении для русской

⁹⁹ *Гончаров И. А. Необыкновенная история (Истинные события) / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. Ф. Будановой // Литературное наследство. Т. 102. И. А. Гончаров: Новые материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. С. 259.*

¹⁰⁰ Там же. С. 232.

литературы. Сомневающийся в своем литературном авторитете Гончаров, вероятно, чувствовал потребность оправдаться за сомнительную в глазах современников службу. Однако, как представляется, эта перемена объясняется не только индивидуальными психологическими причинами и даже не только изменением литературного статуса Гончарова: напротив, до некоторой степени само это изменение произошло под влиянием его службы в цензуре.

В этой части мы попытаемся продемонстрировать, что цензорскую деятельность Гончарова можно рассмотреть как показательный случай, проливающий свет на развитие в России публичной сферы, которая претерпела значительные трансформации именно в первой половине царствования Александра II. В ходе этих трансформаций 1850–1860-х годов представления о соотношении литературной и цензорской профессий в России кардинально изменились, что повлияло и на репутацию Гончарова, и на его высказывания относительно собственной цензорской деятельности. Вместе с тем цензорская служба Гончарова во многом определила характер его позднего творчества, не только как источник сведений о деятельности литературных оппонентов, но и как значимый опыт, показавший писателю, как соотносятся литература, власть и публичная сфера.

Глава 1
**МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ
И ЛИТЕРАТУРОЙ
ГОНЧАРОВ В
ЦЕНЗУРНОМ КОМИТЕТЕ**

Исследователи часто цитируют фразу из дневника А. В. Дружинина от 2 декабря 1855 года:

Слышал, что по цензуре большие преобразования и что Гончаров поступает в цензора. Одному из первых русских писателей не следовало бы брать должность такого рода. Я не считаю ее позорною, но, во-первых, она отбивает время у литератора, во-вторых, не нравится общественному мнению, а в-третьих... в-третьих, что писателю не следует быть цензором¹⁰¹.

С точки зрения традиционных представлений о соотношении общества и государства позиция Дружинина действительно самоочевидна, однако решение Гончарова было во все не однозначным результатом выбора между добром и злом. Эта глава посвящена первым годам службы Гончарова в цензуре, которые, как кажется, демонстрируют именно

¹⁰¹ Дружинин А. В. Повести. Дневник / Изд. подг. Б. Ф. Егоров; В. А. Жданов. М.: Наука, 1986. С. 358.

эту особенность: реформаторски настроенные бюрократы, с которыми писатель был тесно связан, считали возможным продуктивное взаимодействие между государством и обществом, а цензуру воспринимали как один из значимых каналов этого взаимодействия. Во втором разделе главы мы продемонстрируем, почему такой подход не соответствовал реалиям цензурного ведомства.

1. Гончаров, «либеральная бюрократия» и «новый курс» в цензурном ведомстве

Пока становление писательской профессии в России не завершилось, литературная работа не воспринималась как деятельность, автономная по отношению к государственной службе. По этой причине совмещение ролей цензора и литератора не вызывало удивления и тем более осуждения (это, разумеется, не означает, что все литераторы, занимавшие цензорские посты, придерживались одинаковых представлений о том, как именно должно сочетать эти роли)¹⁰². Современникам, например, не приходило в голову осуждать С. Т. Аксакова за выполнение цензорских обязанностей в конце

¹⁰² Многие современники не видели ничего предосудительного даже в факте сотрудничества множества литераторов с III отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии: некоторые формы этого сотрудничества могли оцениваться как позорящие честного человека, но не писателя (см.: *Рейт-блат А. И. Русские писатели и III отделение // Новое литературное обозрение. 1999. № 40. С. 158–186).*

1820-х и начале 1830-х годов.

К середине 1850-х годов представления о связях между литературой и обществом уже значительно изменились. Служить в цензуре для литератора теперь считалось делом зазорным. Не в последнюю очередь, по всей видимости, такая реакция была вызвана развитием «толстых» журналов и литературной критики в 1830–1840-е годы¹⁰³. Благодаря деятельности этих изданий выработывалась система оценки литературных произведений, связанная с их эстетическими особенностями («художественностью», на языке русских критиков этого времени), идейной позицией авторов, журнальной политикой и экономикой (то есть возможным успехом или неуспехом у определенной группы читателей). Среди этих критериев, однако, связь с государственной политикой играла лишь незначительную роль: мнение цензора, конечно, не могло не учитываться, однако воспринималось как что-то внешнее по отношению к собственно литературе. Этому способствовало нежелание государства всерьез относиться к литературе и литераторам. После смерти Николая I, однако, правительство на некоторое время взяло курс на либерализацию цензуры и сотрудничество с обществом. Начало царствования Александра II было отмечено последовательными попытками со стороны либерального

¹⁰³ См.: Literary journals in Imperial Russia / Ed. D. A. Martinsen. Cambridge; New York: Cambridge UP, 1997; Зыкова Г. В. Поэтика русского журнала 1830–1870-х гг. М.: МАКС Пресс, 2005; Frazier M. Romantic Encounters: Writers, Readers, and the Library for Reading. Stanford: Stanford UP, 2007.

крыла российских властей привлечь представителей общественности, в том числе литературной, к управлению империей, в первую очередь к подготовке реформ. Наиболее широко известным примером может служить попытка консультироваться с представителями дворянства в ходе подготовки крестьянской реформы¹⁰⁴. М. А. Корф, глава Комитета 2 апреля 1848 года, сам был инициатором его закрытия, причём среди причин этой меры называл чрезмерную строгость Комитета¹⁰⁵. В новых условиях от цензуры требовалось не только ограничивать печать, но и в той или иной форме направлять ее.

Назначение Гончарова на пост цензора несомненно было связано со сложным и неоднородным отношением властей Российской империи к русскоязычной печати. В середине 1850-х годов группа «либеральных бюрократов», покровительствуемых генерал-адмиралом великим князем Константином Николаевичем, стремилась сблизить российское пра-

¹⁰⁴ См., напр.: *Field D. The End of Serfdom: Nobility and Bureaucracy in Russia, 1855–1861.* Cambridge, Mass.; London: Harvard UP, 1976; *Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 1850 – середина 1870-х гг.).* М.: ТИД «Русское слово»–РС, 2002. С. 89–98; *Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–1861 // Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России.* М.: РОССПЭН, 2011. С. 258–301.

¹⁰⁵ См.: *История Комитета 2 апреля 1848 года в документах / Публ. Н. А. Гринченко // Цензура в России: История и современность: Сб. науч. трудов. Вып. 3.* СПб.: РНБ; Санкт-Петербургский филиал Ин-та истории естествознания и техники РАН, 2006. С. 245.

вительство и литературу. Согласно их представлениям, писатель мог, оставаясь частью литературного сообщества, послужить государству, а государство нуждалось в таких литераторах. Иными словами, литература воспринималась как относительно автономный от общественного мнения институт, который надлежало не подавлять, а эффективно использовать в управлении империей. Вместе с тем «либеральные бюрократы» не считали возможной полную независимость литературы от властей: показательно, например, что они в большинстве своем предлагали ограничить «гласность», направленную на критику высшей власти, и считали ее осмысленной только в случае, если носители этой «гласности» стремились поддержать правительство¹⁰⁶. Это в целом объясняет функции реформы цензуры: теперь она должна была не ограничивать, а поддерживать «гласность», однако исключительно такую, которая могла контролироваться правительством. На фоне цензуры последних лет царствования Николая I такая программа выглядела исключительно либеральной, однако едва ли могла показаться удовлетворительной, когда «мрачное семилетие» ушло в прошлое.

Сообщество либеральных бюрократов действительно сложилось еще в 1840-е годы в тесной связи с литературными

¹⁰⁶ См.: Герасимова Ю. И. Из истории русской печати... С. 41–165; Lincoln B. W. In the Vanguard of Reform: Russia's Enlightened Bureaucrats 1825–1861. DeKalb: Northern Illinois UP, 1982. P. 182–188. Ср. также исследование о предшественниках этой группы чиновников: Ружицкая И. В. Просвещенная бюрократия (1800–1860-е гг.). М.: Ин-т российской истории, 2009.

ми кругами Санкт-Петербурга, куда через посредство дома Майковых входил и Гончаров, а также его будущий покровитель цензор Никитенко¹⁰⁷. О связи Гончарова и просвещенных бюрократов вспоминали современники писателя, впрочем, в далеко не похвальных интонациях:

Героем для повести Гончарова <«Обыкновенная история»> послужил его покойный начальник Владимир Андреевич Солоницын и Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский, брат которого, Михаил Парфенович, бывший с нами в университете и знакомый Ивана Александровича, близко познакомил автора с этой личностью. Из двух героев, положительных и черствых, притом не последних эгоистов, мечтавших только о том, как бы выйти в люди, составить капиталец и сделать хорошую партию, Иван Александрович выкроил своего главного героя¹⁰⁸.

Это был дух просвещенного бюрократизма, который в тогдашней литературе господствовал в кружках, носивших прозвище «постепеновцев». Гончаров мастерски олицетворил этот дух в «Обыкновенной истории» в Петре Ивановиче Адуеве, этом либеральном

¹⁰⁷ См.: *Lincoln B. W. In the Vanguard of Reform...* P. 80–101. См. также современное исследование ранней биографии Гончарова: *Гродецкая А. Г. Гончаров в литературном доме Майковых. 1830–1840-е годы.* СПб.: ООО «Полиграф», 2021.

¹⁰⁸ И. А. Гончаров в воспоминаниях современников / Отв. ред. Н. К. Пиксанов; вступ. ст. А. Д. Алексеева. Л.: Худож. лит., 1969. С. 54. Воспоминания А. В. Старчевского.

администраторе, занимавшем видный пост на государственной службе, пользовавшемся большими связями, вместе с тем – члене акционерных обществ, владельце завода, наконец, англомане, мечтавшем о правовом порядке и реформах сверху, с соблюдением при этом благоразумной умеренности и постепенности¹⁰⁹.

Как и в случае других «просвещенных бюрократов», возможность значительно повлиять на положение дел в российском государстве представилась Гончарову лишь в 1850–1860-е годы, в период подготовки и проведения Великих реформ. Руководствуясь представлением о возможности совместить роли успешного чиновника и талантливого писателя, Константин Николаевич инициировал так называемую литературную экспедицию по берегам Волги. Образцом как для чиновников, финансировавших поездку, так и для создававших литературные описания России писателей послужили травелоги Гончарова, путешествовавшего на фрегате «Паллада» в 1852–1854 годах¹¹⁰. Видимо, назначение Гончарова на должность в цензуре отчасти определяется его связями с группой либерально настроенных чиновников.

В «Необыкновенной истории» Гончаров вспоминал, что стал цензором в период общей либерализации:

¹⁰⁹ Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.; Л.: ЗиФ, 1928. С. 112.

¹¹⁰ См.: Вдовин А. В. Русская этнография 1850-х годов и этос цивилизаторской миссии: случай «литературной экспедиции» Морского министерства // *Ab Imperio*. 2014. № 1. С. 91–126.

Говорили много, спорили о литературе, обедали шумно, весело – словом, было хорошо. Тогда и цензура стала легче. В 1856 году мне предложено было место цензора – и я должен был его принять¹¹¹.

В этой связи показательно письмо Е. П. Ростопчиной к А. С. Норову и П. А. Вяземскому (28 ноября 1856 г.), которые в это время занимали должности министра народного просвещения и товарища министра народного просвещения соответственно и отвечали за цензуру. Предлагая им организовать правительственную газету, способную защищать позицию властей в условиях гласности, Ростопчина советовала на роль редакторов не только Н. Г. Чернышевского (очевидно, его фамилия здесь возникает в связи с его участием в «Морском сборнике», издававшемся ведомством главы либеральной бюрократии Константина Николаевича), но и А. В. Никитенко и Гончарова¹¹². По мнению Ростопчиной, они могли бы «пересоздать и вкус, и направленье читающей Руси», для чего необходимо, «чтоб главный редактор был не чиновник <...>, чтоб он был литератор»¹¹³.

Гончаров в глазах многих современников был именно та-

¹¹¹ Гончаров И. А. Необыкновенная история... С. 200.

¹¹² Примечательно, что уже после отставки Норова именно Никитенко и Гончаров были редакторами газеты Министерства внутренних дел «Северная почта».

¹¹³ О пользе гласности. Письмо Е. П. Ростопчиной П. А. Вяземскому и А. С. Норову / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А. М. Ранчина // Литературное обозрение. 1991. № 4. С. 111.

ким человеком, которому, несмотря на долгие годы службы, удавалось остаться «литератором», а не «чиновником». Как известно, он занял свою должность в цензурном ведомстве благодаря влиянию Никитенко. 24 ноября 1855 года тот записал в дневнике:

Мне удалось наконец провести Гончарова в цензора. К первому января сменяют трех цензоров, наиболее нелепых. Гончаров заменит одного из них, конечно с тем, чтобы не быть похожим на него. Он умен, с большим тактом, будет честным и хорошим цензором. А с другой стороны, это и его спасет от канцеляризма, в котором он погибает (*Никитенко*, т. 1, с. 425).

Если цензурная служба могла, по мнению Никитенко, спасти «от канцеляризма», очевидно, что Гончарова звали в цензуру не исключительно ради выполнения роли бюрократа, а ради деятельности, по меньшей мере близкой к литературным занятиям.

В середине 1850-х годов Никитенко и его единомышленники действительно стремились преобразовать российскую цензуру, в первую очередь на уровне кадровой политики. Особенное внимание к проблеме кадров вообще выделяет проекты Никитенко на фоне других попыток реформировать цензуру (см.: *Котельников*, с. 423–424)¹¹⁴. Еще в декабре 1854 года Никитенко составил проект министерского до-

¹¹⁴ Подробнее см.: *Герасимова Ю. И.* Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х – начала 1860-х гг. М.: Книга, 1974.

клада императору, где предлагал объединить общую цензуру и секретный Комитет 2 апреля 1848 года. Это, по мнению цензора, позволило бы избежать основной проблемы современной цензуры: «...Министерство по необходимости должно терпеть на этой службе людей, лишенных качеств, какие для ней потребны», а цензура «наполнена большею частью людьми без достаточного образования и заботящимися единственно о сохранении своего места, каким бы то ни было образом; они думают, что гораздо безопаснее запрещать все...»¹¹⁵. В этом докладе Никитенко сформулировал и свои требования к цензору, которым, по всей видимости, удовлетворял Гончаров. Эта должность, по его мнению, требует

не только значительных сведений и знакомства с тем, что совершалось и совершается в области Науки и Литературы, не только особенной проницательности и такта, делающих его способным преследовать и уловлять многоразличные и извилистые движения мысли, но и строгой добросовестности и некоторого нравственного и умственного авторитета в обществе, которые бы мнениям и суждениям его давали вес независимо от власти, какою оно облечено, и возбуждали бы уверенность, что действиями его руководствуют долг, закон и знание дела, а не произвол, прихоть или какие-нибудь недостойные побуждения и страсти¹¹⁶.

¹¹⁵ РО ИРЛИ РАН. № 19322. Л. 8.

¹¹⁶ Там же. Л. 7 об.

Однако возможность назначить на цензорские места людей, наделенных «нравственным и умственным авторитетом в обществе», представилась только в царствование Александра II. Кадровая политика цензурного ведомства 1856–1858 годов до некоторой степени определялась репутацией цензоров в литературном сообществе. В Петербургском комитете, где служил Гончаров, в эти же годы начало сотрудничать немало литераторов: исторический романист И. И. Лажечников, автор пьесы из времен Ивана Грозного А. К. Ярославцев и др. В то же время уволены были «нелепые» цензоры Ю. Е. Шидловский, Н. И. Пейкер и Н. С. Ахматов¹¹⁷. Схожей была и кадровая политика в других цензурных ведомствах, где на службу принимали все больше писателей или, по крайней мере, не чуждых литературе людей¹¹⁸. Гончаров, прославившийся еще после шумного успеха «Обыкновенной истории» в 1847 году, воспользовался своим символическим капиталом, чтобы добиться выгодного для карьеры назначения. В свою очередь, руководство цензурного ведомства, проводя масштабные перемены в кадрах, плани-

¹¹⁷ См.: *Фут И. П.* Санкт-Петербургский цензурный комитет: 1828–1905. Персональный состав // *Цензура в России: История и современность*. Сб. науч. трудов. Вып. 1. СПб.: РНБ, 2001. С. 52–53; *Цензоры Российской империи: Конец XVIII – начало XX века: Биобиблиографический справочник*. СПб.: РНБ, 2013. С. 381, 286, 87.

¹¹⁸ См.: *Герасимова Ю. И.* Из истории русской печати... С. 16–18; *Фут И. П.* Увольнение цензора: Дело Н. В. Елагина, 1857 г. // *Цензура в России: История и современность*: Сб. науч. трудов. Вып. 4. СПб.: РНБ; Санкт-Петербургский филиал Ин-та естествознания и техники РАН, 2008. С. 150–171.

ровало переманить на свою сторону этот капитал. Участие в цензуре известного и авторитетного литератора, вероятно, должно было способствовать повышению репутации этого ведомства и, судя по всему, отходу от исключительно конфликтных отношений с литературными кругами.

Принятый на службу в цензуру при таких обстоятельствах Гончаров воспринимал свою работу как возможность выполнять роль не чиновника, а «посредника между властями и писательским миром» (*Мазон*, с. 32). Считая себя цензором новой формации, Гончаров очень скептически отзывался о коллеге по комитету, упоминая «книгу „Альманах гастронома“, которую ценсуровал Елагин и чуть ли не там нашел много „вольного духа“»¹¹⁹. Принципиальное отличие между Елагиным и собою Гончаров усматривал, судя по всему, именно в способности играть роль своеобразного медиатора между государством и литературным сообществом, а тем самым поддерживать реформы, к которым стремились и «либеральные бюрократы», и столичные писатели. Попытки выполнять такую функцию становятся заметны, если внимательно изучить деятельность Гончарова-цензора.

С самого начала службы в цензурном комитете Гончаров пытался поддерживать контакты между либерально настроенными высокопоставленными чиновниками и литературным сообществом. Именно он по поручению товарища

¹¹⁹ *Гончаров И. А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Худож. лит., 1980. С. 229; письмо И. И. Льховскому 25 (13) июня 1857 г.

министра внутренних дел П. А. Вяземского предложил издателю «Отечественных записок» напечатать в журнале статью Э. Форкада «Французский национальный банк»¹²⁰, переведенную П. А. Валуевым, на тот момент – губернатором Курляндии и одним из наиболее ярких сторонников «либеральной бюрократии» (именно Валуев был автором знаменитой записки «Дума русского (во второй половине 1855 года)», призывавшей молодого императора к реформам¹²¹). В письме Краевскому Гончаров апеллирует к мнению С. С. Дудышкина, сотрудника «Отечественных записок», то есть ведет себя как литератор, но вместе с тем туманно сообщает, что «вообще очень бы желательно было напечатать эту статью» (*Мазон*, с. 33), явно намекая на какие-то знания, полученные благодаря службе. В тот же день, 24 мая, Краевский согласился напечатать статью, о чем Гончаров немедленно уведомил Вяземского, явно просившего добиться ее публикации, и обещал повлиять на цензора журнала Краевского А. И. Фрейганга¹²², а после сообщил Вяземскому список

¹²⁰ О модернизационных планах переводчика свидетельствует хотя бы его вступление к статье: «Если верить газетам и общей молве – и отчего же не верить до некоторой степени тому и другому? – Россия готовится жить новою промышленною жизнью. <...> Все помышляют, говорят и даже пишут о железных дорогах, об акционерных обществах, о разных других средствах к быстрейшему и пространнейшему развитию нашей промышленной деятельности» (*Форкад Э. Французский национальный банк // Отечественные записки. 1856. № 7. С. 199*).

¹²¹ См. об этом документе в экскурсе 2.

¹²² См.: *Суперанский М. Ф. Материалы для биографии И. А. Гончарова // Огни. История. Литература / Ред. Е. А. Ляцкого, Б. Л. Модзалевского, А. А. Сиверса.*

исключений, которые были «так незначительны, что авторское самолюбие, кажется, не должно пострадать»¹²³. Посредничество Гончарова оказалось, впрочем, не вполне удачным: Краевский, опасаясь, что другой перевод статьи «того и гляди явится в каком-нибудь журнале, не здесь, так в Москве»¹²⁴, хотел напечатать ее в июньской книжке журнала, однако Вяземский, опасаясь за «авторское самолюбие» Валуева, счел нужным переслать текст отцензурованной статьи в Митаву (*Мазон*, с. 34)¹²⁵. 26 сентября 1856 года Гончаров сообщал Дружинину, что воспользовался случайной встречей с тем же Вяземским, чтобы ускорить назначение своего адресата на пост редактора «Библиотеки для чтения», и обещал устроить личную встречу товарища министра и литератора¹²⁶. Дружинин действительно вскоре был утвержден редактором журнала.

В то же время Гончаров пытался установить доброжелательные отношения между литераторами и вновь назначенным либеральным председателем цензурного комитета и попечителем Петербургского учебного округа Г. А. Щербато-

Кн. 1. Пг., 1916. С. 198.

¹²³ Письма И. А. Гончарова к П. А. Вяземскому / Сообщ. Н. Ф. Бельчиков // Красный архив. 1923. Т. 2. С. 263–264.

¹²⁴ Там же. С. 264.

¹²⁵ См. также: Письма И. А. Гончарова к П. А. Вяземскому. С. 264–265.

¹²⁶ Письма к А. В. Дружинину: 1850–1863 (Летописи Государственного литературного музея. Кн. 9) / Ред. и коммент. П. С. Попова. М.: Тип. «Красный пролетарий», 1948. С. 73.

вым. Это видно в письме Краевскому от 18 ноября 1856 года, где цензор не просто передает издателю приглашение на вечер к Щербатову, но и подчеркивает, что тот не приказывает, а лишь просит Краевского пожаловать и что на вечере встретятся представители разных кругов – и литераторы, и профессора, и цензоры:

Князь Щербатов *просил* меня *просить* Вас пожаловать к нему в эту пятницу и жаловать в прочие пятницы вечером: он очень желает познакомиться с редакторами и литераторами, чтобы иметь постоянные и прямые личные с ними сношения, между прочим, для объяснений по литературным и журнальным делам. Он просил также извинить его, *пожалуйста*, что он, заваленный по утрам докладами и просителями, не имеет возможности сделать визитов, а просит обойти эти церемонии. У князя найдете и профессоров, и цензоров, и Дружинина... etc. (Мазон, с. 35)¹²⁷

В схожем тоне Гончаров через неделю звал к Щербатову И. И. Панаева:

Князь Щербатов поручил мне просить Вас, любезнейший Иван Иванович, пожаловать к нему в пятницу вечером и жаловать в прочие пятницы. Там, кажется, будут и другие редакторы и литераторы, с которыми со всеми он хочет познакомиться. Только

¹²⁷ То же приглашение Гончаров действительно передал Дружинину 18 ноября, заметив, что планировал позвать также Л. Н. Толстого и П. В. Анненкова (Письма к А. В. Дружинину... С. 74, 77).

он просит извинить его, что, за множеством дел и просителей, он не может делать визитов. Вечер же самое удобное время, говорит он, даже когда понадобится объясниться по журнальным делам. Он спрашивал меня, кто теперь есть здесь из наших литераторов (разумеется порядочных). Я назвал П. В. Анненкова, Григоровича, Толстого; он усердно приглашает и их¹²⁸.

Судя по всему, Гончаров считал, что в качестве цензора может едва ли не облагодетельствовать издателя. В письме Краевскому он сообщил о своем назначении цензором «Отечественных записок», подчеркивая, что сам просил Лажечникова уступить ему журнал Краевского (*Мазон*, с. 35). Впрочем, Дружинину Гончаров писал, что предпочел бы цензуровать «Библиотеку для чтения», которую редактировал его адресат, «но Фрейганг не дал»¹²⁹.

Если в письмах к литераторам и издателям Гончаров позиционировал себя как выразителя доброй воли либерально настроенного правительства, то в письмах к коллегам-цензорам он представал выразителем мнений литературной общности. 6 апреля 1857 года он обратился к секретарю цензурного комитета А. К. Ярославцеву едва ли не как медиум, способный донести голос даже Пушкина (а вместе с тем и высокопоставленного начальства):

¹²⁸ См.: Панаева А. Я. (Головачева). Воспоминания / Вступ. ст. К. И. Чуковского, примеч. Г. В. Краснова, Н. М. Фортунатова. М.: ГИХЛ, 1972. С. 266. Датировка письма у Панаевой неверна.

¹²⁹ Письма к А. В. Дружинину... С. 77. Письмо от 18 ноября 1856 г.

Прилагаю при этом сочинения Пушкина и мой рапорт, который, в последнее заседание, разрешено мне подать. Сделайте одолжение, почтеннейший Андрей Константинович, прикажите, как только можно будет скорее, заготовить бумагу в Главн<ое> упр<авление> цен<суры>, чтобы оно поспело там к докладу первого заседания после Святой и чтоб на празднике успели его рассмотреть в канцелярии министра. Об этом Вас просит усердно Анненков, я и сам Пушкин. Об этом знают некоторые члены Главн<ого> упр<авления>, между прочим, интересуется и граф Блудов (цит. по *Котельников*, с. 485).

Другой характерный пример – аргументация Гончарова в пользу переиздания «Записок охотника» Тургенева. В докладе, датированном 20 ноября 1858 года, цензор выступал в качестве не столько чиновника, сколько носителя эстетического вкуса и представителя общественного мнения, на которое он прямо ссылался:

Книга его прочтена всеми и на всех производит благородное, художественное впечатление: поэтому второе издание ее было бы справедливым возвращением ей права вновь появиться в кругу изящной отечественной литературы и стать наряду с лучшими ее произведениями (*Гончаров*, т. 10, с. 44).

Итак, Гончаров пришел на службу в цензуре, руководствуясь новыми принципами, характерными для группы чиновников-реформаторов, стремившихся преобразовать россий-

ское государство. Писатель в целом разделял их представления о необходимости реформ и стремился использовать свой статус одновременно чиновника и писателя, чтобы поучаствовать в преобразовании отношений между правительством и обществом. Однако реальность цензурской службы не соответствовала представлениям Гончарова о своей роли.

2. Чем занимался Гончаров в цензурном комитете? Реформаторские планы и повседневная практика

Сам характер службы в цензурном комитете не давал рядовому цензору наподобие Гончарова возможность проявить свои «литературные» способности: цензурные порядки со времен Николая I фактически не изменились и совершенно не были приспособлены к выполнению цензором посреднической функции. В этом смысле никакая цензурная реформа даже не началась. Рядовой цензор в своих отчетах обязан был руководствоваться исключительно цензурным уставом и многочисленными циркулярами и распоряжениями правительства и министра народного просвещения. Все более или менее сложные случаи он должен был выносить на заседания цензурного комитета, который, в свою очередь, стремился избежать ответственности и предоставлял

решение Главному управлению цензуры¹³⁰.

Как и многие российские бюрократы, цензоры должны были стремиться не к реальным успехам, а к тому, чтобы их достижения хорошо выглядели на бумаге. Все исследователи творчества Гончарова, обращавшиеся к его цензорской деятельности, регулярно ссылаются на приведенные А. Мазоном впечатляющие цифры, почерпнутые из этих ежемесячных отчетов: в 1856 году писатель прочитал 10 453 страницы рукописей и 827,75 печатного листа изданий, доставленных в цензуру в корректурах, в 1857 году – 8584 страницы и 1039 печатных листов, в 1858 году – 19 211 страниц и 1052,75 печатного листа. Если верить этим отчетам, картина вырисовывается поразительная: за все годы службы в цензуре Гончаров просмотрел 49 106 листов рукописей и 4550 авторских листов печатных текстов, причем в это же время был в основном написан «Обломов»¹³¹. Гончаров был далеко не самым тяжело трудившимся членом комитета: чаще всего он занимал по количеству просмотренных страниц предпоследнее место, превосходя лишь тех членов комитета, кото-

¹³⁰ См. подробнее: *Зубков К. Ю.* Писатель и цензор: Служебная деятельность И. А. Гончарова второй половины 1850-х гг. // Материалы V Междунар. науч. конф., посвященной 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова <Ульяновск, 18–21 июня 2012>: Сб. статей русских и зарубежных авторов / Сост. И. В. Смирнова, А. В. Лобкарева, Е. Б. Клевогина, И. О. Маршалова. Ульяновск: Корпорация технология продвижения, 2012. С. 310–318.

¹³¹ См.: *Mazon A.* Un maître du roman russe Ivan Gontcharov. Paris: Librairie ancienne H. Champion – É. Champion, 1914. P. 198.

рые собирались вскоре уйти со службы. Так, В. Н. Бекетов за те же годы и месяцы просмотрел 110 112 листов рукописей и 12 692 авторских листа печатных текстов¹³². Конечно, эти цифры заставляют представлять любого цензора мучеником, погребенным под горой бумаг. Однако далеко не во всем составленные цензорами, в том числе Гончаровым, отчеты заслуживают доверия. Во-первых, не все одобренные рукописи цензоры действительно читали. Например, 3 июня 1857 года Гончаров одобрил 6-й номер «Отечественных записок», 4 июня – сразу два номера газеты «Золотое руно», 5 июня – 11-й номер журнала «Мода», 18 июня – 24-й номер «Газеты лесоводства и охоты»¹³³. Однако 7 июня цензор уже пересек российскую границу, направляясь в Мариенбад¹³⁴. Значительно более распространен другой метод фабрикации отчетов, сводящийся к неверному сложению объемов рукописей. В мае 1857 года Гончаров, по его собственному отчету, рассмотрел 1816 страниц рукописей, тогда как сложение объемов всех указанных им рукописей дает на 200 страниц меньше, в мае того же года разница составляет 100 страниц, в октябре – 300 страниц, причем разница всегда оказы-

¹³² Подсчеты производились по ежемесячным сводкам о прочитанных цензорами Петербургского комитета материалах: РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 3808, 4064, 4380, 4760, 5157.

¹³³ См.: РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 4064. Л. 140 об. – 165 об.

¹³⁴ См.: *Алексеев А. Д.* Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 74.

вается в пользу цензора¹³⁵. Разумеется, речь идет не об обманах самого Гончарова, а о типичной практике ведения дел в цензурных комитетах. Другой пример: прохождение через цензуру книги историка Армении А. М. Худобашева «Обозрение Армении в географическом, статистическом и литературном отношениях» (СПб., 1859). Этот монументальный труд попадал к цензору трижды, а его прохождение заняло около года. В первый раз Гончаров принял решение передать книгу в Духовную цензуру, по возвращении оттуда – решил «препроводить» в Кавказский комитет (Гончаров, т. 10, с. 32–33). Сочинение Худобашева было внесено в цензуру еще раз, почти через год, и только после этого было наконец рассмотрено и разрешено Гончаровым. В результате цензор вписал одну и ту же книгу в ведомость дважды, причем в первый раз произведение Худобашева на 956 страницах составило почти три четверти просмотренного за месяц объема рукописей, а во второй раз – половину¹³⁶. Впрочем, можно было вписать ее в ведомость и трижды, еще больше завысив количество листов.

При этом в реальной практике цензуры бюрократические ограничения подчас не исключали, а поддерживали идейные ограничения. Как известно, в начале XIX века цензоры и критики, представлявшие привилегированные слои российского общества, в схожем духе оценивали «низовую» литера-

¹³⁵ См.: РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 4064. Л. 138.

¹³⁶ См.: Там же. Л. 253, 284 об.

туру; разница состояла в том, что цензоры были склонны ее запрещать, а критики – только осуждать¹³⁷. Анализ цензурной деятельности Гончарова демонстрирует, что эта практика поддерживалась на уровне повседневных бюрократических практик цензурного аппарата: запретить любительское сочинение было значительно проще, чем произведение профессионального и пользующегося успехом литератора. Когда цензор должен был принять более или менее значимое решение, особенно решение о неодобрении рукописи к печати, он, за редчайшими исключениями, не действовал самостоятельно, а апеллировал к мнению цензурного комитета или даже Главного управления по делам печати. Так, за все годы службы в цензуре Гончаров без обращения к начальству запретил следующие произведения, по преимуществу явно не относящиеся к профессиональной литературе и вряд ли способные привлечь широкое внимание публики (названия приводятся в соответствии с записями в цензурских ведомостях): «Anagramme du nom en Grec de Sa Majesté Alexandre II (от г. Пападопуло-Врето)», «Полное собрание русских песен и романсов, А. Н. (от г-на Носовича)», «В России верблюды о двух горбах (от купца Никифорова)», «Две лирические поэмы на случай священнейшего коронация их императорских величеств (от г. Краснополь-

¹³⁷ См.: Рейтблат А. И. Цензура народных книг во второй четверти XIX века // Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 182–190.

ского)», «Двенадцать спящих будочников (от Шмитановского)» (позже это произведение было одобрено под названием «Двенадцать спящих сторожей»), «Сборник лучших басен Крылова, Хемницера, Дмитриева и Измайлова», «Стихи на заключение мира в Париже 18/30 марта 1856 года (от г. Депредровича)»¹³⁸. Напротив, в вышестоящие инстанции Гончаров обращался с такими произведениями, как «Полное собрание сочинений» Н. М. Языкова; 7-й том «Сочинений» А. С. Пушкина, изданных П. В. Анненковым; «Ледяной дом» и «Последний Новик» Лажечникова; пьесы Островского; повести Тургенева и др. – то есть с сочинениями известных и авторитетных писателей. Причина здесь – не личная нерешительность Гончарова, а бюрократическая система, в рамках которой цензор вообще не должен был брать на себя ответственность за какие бы то ни было важные решения.

Что касается профессиональной литературы, то от цензора требовалось не принимать никаких ответственных решений, ни либеральных, ни репрессивных. В 1858 году Гончаров получил выговор за пропуск романа А. Ф. Писемского «Тысяча душ». Через много лет, 21 января 1872 года, Писемский благодарил его за то, что четвертая часть романа вышла в неискаженном виде: «...вы были для меня спаситель и хранитель цензурный: вы пропустили 4-ю часть „Тысячи душ“»

¹³⁸ Здесь и далее подсчеты выполнены по цензорским ведомостям о рассмотренных рукописях и изданиях, хранящимся в РГИА и опубликованным нами (*Гончаров*, т. 10).

и получили за это выговор» (*Писемский*, с. 285). Впрочем, осуждение вызывал не только либерализм, но и чрезмерная суровость цензоров, проявляемая в случаях, которые не были предписаны цензурными правилами. Когда один из коллег Гончарова попытался запретить П. В. Анненкову переиздавать некоторые чрезмерно вольные произведения Пушкина, начальство распорядилось, чтобы он «не умничал»¹³⁹ – и действительно цензор был обязан препроводить это издание на рассмотрение Главного управления цензуры как сочинения известного писателя. На основании всех этих примеров можно сказать: во времена службы Гончарова цензор не должен был нести слишком большую индивидуальную ответственность за разрешение и запрещение известных или оригинальных произведений.

Таким образом, даже очень ограниченные планы либеральных реформаторов, желавших установить контакт хотя бы с просвещенными представителями привилегированных кругов общества, столкнулись с инерцией бюрократической машины, совершенно неспособной эффективно взаимодействовать с представителями публичной сферы. Набранные в цензуру либерально настроенные литераторы типа Гончарова оказались в таком же положении, как служившие до них бюрократы, – единственным отличием оказалась их близость к литературному обществу, благодаря которой они могли

¹³⁹ См.: *Скабичевский А. М.* Очерки истории русской цензуры (1700–1863 г.). СПб.: Ф. Павленков, 1892. С. 382–389.

пытаться хотя бы поддерживать личные отношения с литераторами.

Впрочем, литературное сообщество, со своей стороны, нечасто было готово вступать в доверительные контакты с цензорами. Особенно это стало заметно в конце 1850-х годов, когда литераторам стало ясно, что «новые» цензоры на практике не всегда лучше старых. До возникновения Литературного фонда в 1860 году единственными влиятельными группами, определявшими ход литературного процесса «изнутри», оказались редакции журналов. Кроме издателей и редакторов отдельных периодических изданий, Гончарову было не к кому обратиться. Краевский или Дружинин, издававшие толстые журналы, не могли не прислушаться к мнению цензора. Не считая такого – во многом вынужденного – симбиоза, литературная общественность часто не доверяла чиновникам гончаровского типа. Показательны в этом смысле два эпизода с участием Гончарова. 8 декабря 1858 года, обращаясь к П. В. Анненкову, он писал о неприятной истории, в которую попал по милости своего адресата:

Третьего дня, за ужином у Писемского, по совершенном уже окончании спора о Фрейганге, Вы сделали общую характеристику цензора: «Цензор – это чиновник, который позволяет себе самоволие, самоуправство и так далее», – словом, не польстили. Все это сказано было желчно, с озлоблением и было замечено всего более, конечно, мною, потом другими, да чуть ли и не самими Вами, как мне казалось, то есть

впечатление произвела не столько сама выходка против цензора, сколько то, что она сделана была в присутствии цензора. В другой раз, с месяц тому назад, Вы пошутили за обедом у Некрасова уже прямо надо мной, что было тоже замечено другими.

Я не сомневаюсь, любезнейший Павел Васильевич, что в первом случае Вы не хотели сделать мне что-нибудь неприятное и сказанных слов, конечно, ко мне не относили и что во втором случае, у Некрасова, неосторожное слово тоже сказано было в виде приятельской шутки. Но и в тот, и в этот раз, особенно у Писемского, были совершенно посторонние нам обоим люди, которые ни о наших приятельских отношениях, ни о нежелании Вашем сказать мне что-нибудь грубое и резкое не знают и, следовательно, могут принять факт, как они его видели, как он случился, то есть что ругают наповал звание цензора в присутствии цензора, а последний молчит, как будто заслуживает того. Если б даже последнее было справедливо, то и в таком случае, я убежден, Вы, не имея лично повода, наконец, из приязни и по многим другим причинам, не взяли бы на себя право доказывать мне это, почти публично, и притом так резко, как не принято говорить в глаза¹⁴⁰.

В этом объяснении Гончаров совершенно не упоминает, что дважды случившийся инцидент имел отношение не только к его чиновничьему положению, но и к литературной эти-

¹⁴⁰ Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: ГИХЛ, 1955. С. 256–257.

ке: Анненков в его лице оскорбил не только цензоров, но писателя. Судя по его изложению, на это не обратили внимания и другие участники ужина. По мнению собравшихся литераторов, цензор по определению исключался из их круга, даже если сам был известным автором.

Таким образом, ни цензурное ведомство, ни литературное сообщество не имели выработанных форм коммуникации друг с другом в пределах публичной сферы, а не кулуаров цензурного ведомства, и, за немногими исключениями, не стремились эти формы создавать. Планы «либеральных бюрократов», которые Гончаров был призван выполнить, при всей своей ограниченности не могли быть реализованы. В этих условиях установка Гончарова, согласно которой можно было одновременно продуктивно трудиться и на литературном, и на цензурном поприще, способствуя контактам между этими двумя социальными институтами, оказалась неосуществимой. Судя по его собственным высказываниям, Гончаров все с большим и большим трудом мог соединить две эти ипостаси. Так, в письме от 28 августа (9 сентября) 1859 года, сообщая А. Ф. Писемскому, что шокирующее содержание его пьесы «Горькая судьбина» вызывает у него эстетическое недовольство, Гончаров добавлял:

...это не будет чересчур противно и даже, может быть, примется одобрительно при последнем современном направлении литературы. Я, как старый литератор, может быть, гляжу на это очень робко, но это

мое личное мнение, и я за него не стою горой. Однако я боюсь цензуры – за драму, разве Вы сделаете уступки¹⁴¹.

Гончаров рассуждал так, как будто не имел никакого отношения к возможному разрешению или запрету пьесы. Между тем именно он впоследствии сыграет не последнюю роль в ее допуске к печати (см. *Гончаров*, т. 10, с. 52, 509–511). Тем не менее, рассуждая «как старый литератор», Гончаров уже не воспринимал себя как цензора. Напротив, ставя себя на место цензора, писатель как бы забывал о своей литературной деятельности. Социальные роли писателя и цензора в его сознании уже жестко противопоставлены. Это положение вещей едва ли устраивало Гончарова, однако, не имея материальной возможности оставить службу, он пытался по возможности способствовать скорейшему преобразованию в работе цензурного ведомства.

¹⁴¹ Там же. С. 279.

Экскурс 1

«...ПРИНЯЛИ СТОРОНУ СИЛЬНОГО...»

ЛИТЕРАТУРНОЕ СООБЩЕСТВО И СТАТУС ЦЕНЗУРЫ В 1856 ГОДУ

Убежденность Гончарова и «либеральных бюрократов» в возможности использовать цензуру как институт коммуникации между государством и литературным сообществом может показаться поразительной слепотой чиновников, не способных понять, как писатели должны относиться к этому ведомству. В действительности, однако, в то время, когда Гончаров принял решение стать цензором, такие взгляды встречались и среди самих писателей. В этот короткий промежуток времени литераторы искренне верили в возможность и продуктивность кооперации с государством и надеялись, что она приведет к реальным переменам к лучшему в политической жизни империи. В 1855–1857 годах многие литераторы воспринимали государство не как оппонента, а как потенциального союзника в общественной жизни. В цензорах (по крайней мере, либеральных) эти литераторы были склонны видеть прежде всего не врагов творческой свободы, которым необходимо по возможности противостоять, а

значимых участников общественной жизни, с которыми требуется налаживать продуктивное взаимодействие. Надеждам этим не было суждено сбыться, но лишь очень немногие современники не верили в возможность построить новые отношения с цензорами.

Мы покажем популярность этого убеждения на примере одного эпизода – обсуждения первого издания «Стихотворений» Н. А. Некрасова.

Некрасова, одного из главных радикалов в истории русской поэзии, трудно обвинить в чрезмерной снисходительности к цензорам. В стихотворении «Кому холодно, кому жарко!», вошедшем в цикл «О погоде» (опубл. 1865), он писал:

А театры, балы, маскарады?
Впрочем, здесь и конец, господа,
Мы бы там побывать с вами рады,
Но нас цензор не пустит туда.
До того, что творится в природе,
Дела нашему цензору нет.
«Вы взялись писать о погоде,
Воспевайте же данный предмет!»¹⁴²

Образ цензора в этих строках, с одной стороны, соответствует традиционному представлению о не способном понимать поэтических произведений гасителе свободы, а с другой – демонстрирует сложные отношения между литерату-

¹⁴² Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 2. Л.: Наука, 1981. С. 194.

рой и цензурным ведомством. Этот персонаж стихотворения действительно механически ограничивает творческую свободу поэта, вероятно руководствуясь страхом, что в невинное, казалось бы, стихотворение может прокрасться что-то неблагонадежное. Вместе с тем цензор вторгается в обсуждение литературных вопросов: его волнует выдержанность темы и проч. Разговор поэта с цензором неизбежно оказывается беседой не о политике, а о поэзии. Своеобразное место цензора на границе литературного и чиновничьего миров у Некрасова очень ясно выражается за счет стилистически абсурдного сочетания «поэтических» и бюрократических слов в его речи («*Воспевайте же данный предмет*»). Как кажется, эта двойственность – выражение не просто иронии Некрасова, а вполне реального опыта его столкновений с цензурой. Позиция самого Некрасова, впрочем, со временем менялась: поэт далеко не всегда был только непримиримым врагом цензуры.

В 1856 году, следом за выходом первого издания «Стихотворений» поэта, несколько его произведений («Поэт и гражданин», «Забытая деревня» и «Отрывок из путевых записок графа Гаранского») были перепечатаны на страницах «Современника». Это привело к масштабному скандалу, ход которого будет рассмотрен далее. В поле нашего внимания будет не только и не столько цензурное делопроизводство, уже достаточно изученное исследователями, сколько позиции представителей литературного сообщества. На основа-

нии работ многочисленных исследователей, обращавшихся к этому эпизоду, складывается вполне определенная картина: в отсутствие опытного журналиста Некрасова, находившегося за границей, его стихотворения перепечатал руководивший журналом Н. Г. Чернышевский. Строго говоря, ничего формально нарушающего цензурный устав в этих стихотворениях не было, однако это не остановило развития событий. По всей видимости, толчком к ним послужили жалобы на Некрасова со стороны каких-то оставшихся неизвестными сановников. Цензура, возглавляемая министром народного просвещения А. С. Норовым и товарищем министра народного просвещения П. А. Вяземским, воспринимала поэзию Некрасова как политически опасную и была возмущена и книгой стихотворений, и – еще более – републикацией их в известном и влиятельном толстом литературном журнале. В результате разбирательства И. И. Панаев, в отсутствие Некрасова формально руководивший «Современником», получил выговор лично от министра, а слывший либералом цензор В. Н. Бекетов, дозволивший печатать и книгу Некрасова, и соответствующий номер, едва не был вынужден уйти в отставку, журнал же был передан более придирчивому И. И. Лажечникову. Таким образом, исследователи создают картину произвола цензуры, жертвами которого становились и журналисты, и поэты, и даже либеральные сотрудники самого цензурного ведомства¹⁴³.

¹⁴³ См.: *Евгеньев-Максимов Е. В.* В цензурных тисках (Из истории цензурных

Однако в этой картине не находится места мнению самих писателей об этом скандале, которое с трудом вписывается в обрисованную учеными картину. Литературное сообщество, за несколькими значимыми исключениями, резко выступило именно против официальных редакторов «Современника» – Некрасова и Панаева. Более того, даже сам Некрасов, похоже, был готов признать ответственность редакции. Неудивительно, что советские исследователи, исходявшие из представлений о цензуре только как об агенте репрессивного правительства, не обращались к этому эпизоду: он едва ли укладывался в их представления об истории литературы этого периода. Впрочем, даже в современных работах о Некрасове или об истории цензуры позиция современников практически не упоминается.

В литературной среде реформаторские планы Александра II и его чиновников были встречены с огромным энтузиазмом; подавляющее большинство литераторов, которым предлагалось участвовать в разного рода правительственных проектах, во второй половине 1850-х годов отвечало на эти предложения согласием. Даже А. И. Герцен, не слишком

гонений на поэзию Некрасова) // Книга и революция. 1921. № 2 (14). С. 36–46; Бельчиков Н. Ф. Н. А. Некрасов и цензура // Красный архив. 1922. Т. I. С. 355–360; Евгенийев-Максимов Е. В. «Современник» при Чернышевском и Добролюбом. Л.: ГИХЛ, 1936. С. 99–108; П. А. Вяземский – цензор Некрасова / Публ. В. С. Нечаевой // Литературное наследство. Т. 53–54. Н. А. Некрасов. <Кн.> III. М.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 213–218; Гаржави А. М. Н. А. Некрасов в борьбе с царской цензурой. Калининград: Калининградское книжное изд-во, 1966 (= Ученые записки Калининградского гос. пед. ин-та. Вып. XIII). С. 98–101.

любивший самодержавие, публично поддерживал позицию Александра II, резко критикуя оппонентов реформ на страницах «Колокола». В числе этих оппонентов он упоминал попечителя Петербургского учебного округа, то есть одного из руководителей цензурного аппарата:

Правда ли, что подозрительные люди, враждебные правительству, собираются всякую неделю у бывшего петербургского попечителя Мусина-Пушкина с целью порицания всех действий государя в пользу прогресса и развития (*Герцен*, т. 13, с. 19, статья «Правда ли?»).

В этом контексте кадровые перемены по цензуре и отмена Комитета 2 апреля 1848 года воспринимались по крайней мере некоторыми литераторами как значимая составляющая «духа времени» – эпохи реформ. Так, 8 декабря 1855 года Е. Н. Эдельсон писал своей жене Е. А. Эдельсон: «Петербург просто обдал меня благоприятными новостями: уничтожение негласного цензурного комитета, университет в Сибири, перемена ценсоров – вот новости, которыми меня встретили»¹⁴⁴. Писатели этого времени сохраняли определенную надежду на нормализацию отношений с цензурным ведомством. В конечном счете это ожидание было логично, если учесть убежденность в том, что государство настроено по отношению к ним в целом доброжелательно. Показательна в этой связи всеобщая поддержка, которой пользовались в литературных кругах «либеральные» цензоры. Так, цензор

¹⁴⁴ ОР РНБ. Ф. 1123. № 67. Л. 42.

Н. Ф. фон Крузе, вынужденный уйти в отставку именно по причине своего чрезмерного либерализма, пользовался поддержкой широкого круга литераторов самых разных направлений¹⁴⁵.

На этом фоне цензурный скандал 1856 года мог восприниматься – и воспринимался – не как очередной репрессивный акт правительства, а как ненужная и скорее вредная провокация со стороны редакции «Современника», отвергнувшей, по мнению многих литераторов, предложения власти пойти на контакт. Литературное сообщество было в большинстве своем убеждено, что конфликт инициировали именно сотрудники журнала, а вовсе не цензоры, хотя и не могло прийти к единому мнению относительно персональной ответственности редакторов и причин, вызвавших столкновение. Более того, в целом недалек был от такого понимания и сам Некрасов, который, впрочем, не был склонен считать себя виноватым.

Интересным парадоксом может послужить тот факт, что свою позицию литературное сообщество, лишенное возможности публично высказываться по некоторым значимым вопросам, могло сформулировать только в личной переписке. Хотя обсуждать цензуру в печати было невозможно в силу ее же ограничений, литераторы в письмах защищали ту са-

¹⁴⁵ См.: Ретинецкий С. А. Московский цензурный комитет и политика в отношении печати накануне отмены крепостного права // Российская история. 2011. № 2. С. 109–116.

мую цензуру. Мнение литературного сообщества выработывалось и обсуждалось не только на страницах периодики, но и в кулуарах литературного мира: во время встреч журнальных редакций, «литературных обедов» и проч.¹⁴⁶ Однако о подобного рода обсуждениях у нас сохранились лишь косвенные сведения. Напротив, эпистолярные источники доступны современным исследователям практически в полной мере.

31 марта – 1 апреля 1857 года Некрасов в письме к Л. Н. Толстому сообщал о всеобщем недовольстве собственной ролью в столкновении с цензурой:

Если мне удастся справиться, т. е. совладеть с собою, – я еще постою за «Современник». – Делать я куда ничего не делаю, кстати скажу, что я был серьезно обижен тем несомненным фактом, что все мои литературные друзья в деле о моей книге приняли сторону сильного, обвиняя меня в мальчишестве¹⁴⁷.

Исследователи разошлись во мнениях, что имеется в виду: Г. В. Краснов полагал, что речь о каких-то конкретных критических высказываниях в адрес Некрасова, М. С. Макеев ему возражал¹⁴⁸. Между тем найти подобные высказыва-

¹⁴⁶ См.: *Вдовин А. В.* Что произошло на «обеде» памяти Белинского в 1858 году? К истории одной легенды. 2013 // Статьи на случай: Сб. в честь 50-летия Р. Г. Лейбова. URL: http://www.ruthenia.ru/leibov_50/Vdovin.pdf.

¹⁴⁷ *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 14. Кн. 2. СПб.: Наука, 1999. С. 67.

¹⁴⁸ Там же. С. 216, коммент. Г. В. Краснова; *Макеев М. С.* Николай Некрасов:

ния не составляет труда: Некрасова действительно буквально обвиняли в «мальчишестве», возлагая на него ответственность за произошедшее. Это стало одной из основных тем писательской переписки в ноябре 1856 года.

Уже 18 ноября 1856 года, то есть до заседания Петербургского цензурного комитета, на котором разбирались упущения Бекетова, Гончаров сообщал А. В. Дружинину:

У нас, Вы слышали, перемены: «Совр<еменник>» отошел от Бекетова к Лажечн<икову>, я взял «Отеч<ественные> Зап<иски>», хотел взять «Библ<иотеку для чтения>», но Фрейганг не дал. Вот они, что наделали, вопли прошедшего, теперь едва ли нужные и полезные кому-нибудь. Помните, я предсказывал это, когда Вы, воротясь из деревни, были у меня, предсказывал это и Николаю Алек<сеевичу>, но он слушать не хотел. А между тем, это будет мешать и Тургеневу, и другим. Как это назвать? Неосторожностью – мало; эгоизмом – много...¹⁴⁹

Гончаров, видимо, считал ответственным Некрасова, упорно повторявшего «вопли прошедшего», то есть воспроизводившего критическую позицию, характерную для более раннего периода. Казалось бы, эта точка зрения характерна

поэт и предприниматель (очерки о взаимодействии литературы и экономики). М.: МАКС-Пресс, 2008. С. 121–122.

¹⁴⁹ Письма к А. В. Дружинину: 1850–1863 (Летописи Государственного литературного музея. Кн. 9) / Ред. и коммент. П. С. Попова. М.: Тип. «Красный пролетарий», 1948. С. 77.

для сотрудника цензурного ведомства – однако в писательском цехе она была распространена почти повсеместно.

В тот же день сам Дружинин отправил письмо находившемуся за границей Тургеневу, где высказал и свою позицию, и точку зрения В. П. Боткина:

Мне горестно заключить мое письмо худой новостью – в «Современнике» была большая неприятность за перепечатку «Поэта и Гражданина». Бекетова устранили от журнала и Панаева жестоко выругали, грозя журналу запрещением. И Васинька и мы все сильно озлоблены за мальчишескую неосторожность, с которой «Современник» велся, и мы предвидели неприятность. Так журнала вести нельзя, время кукишей в кармане миновалось. Весь «Поэт и Гражданин», за исключением одного отрывка, не стоит трех копеек серебром, а вреда литературе он сделал на сто рублей. Теперь и Ваши «Записки охотника» вряд ли пройдут¹⁵⁰.

Дружинин вовсе не был поклонником цензуры, однако в целом явно разделял позицию Гончарова, считая републикацию произведений Некрасова несвоевременной и просто вредной в условиях политической либерализации, подразумевавшей смягчение отношений с цензурой. «Записки охотника» Тургенева все же удалось переиздать, не в последнюю очередь благодаря Гончарову, но это издание вышло лишь

¹⁵⁰ Тургенев и круг «Современника»: Неизданные материалы. 1847–1861. М.: Academia, 1930. С. 197.

через три года (*Гончаров*, т. 10, с. 43–44). Именно этот отзыв, возможно, и имел в виду Некрасов, когда говорил об упреках в «мальчишестве». Схожую позицию занимал и А. Ф. Писемский, 24 ноября сообщавший Б. Н. Алмазову:

...Некрасов по свойственной ему филантропии тоже не побережет и ухлопает каким-нибудь риторическим, но вольнодумным стихотворением, Панаева (эту ни в чем не повинную жопу «Современника») призывали и пудрили. – Весь этот скандал чрезвычайно неприятен всем нам, остальным литераторам, тем, что цензура опять выпустит свои когти, на что цензора имеют полное нравственное право, если мы, литераторы, станем так поступать с ними и для придания полукуплетным стихам своим значения станем печатать в оглавлении Рылеевские думы, которые и сами-то по себе имеют некоторой смысл потому только, что этот человек был удушен (*Писемский*, с. 103).

Письмо схожего содержания Писемский отправил Тургеневу 27 ноября: «В „Современнике“ вышел цензурный скандал, которого, впрочем, и ожидать следовало, Панаева, эту ни в чем не виновную жопу редакции, призывали и пудрили»¹⁵¹. Писемский явно считал лично ответственным именно Некрасова (хотя тот и отсутствовал в Петербурге во вре-

¹⁵¹ Письма А. Ф. Писемского (1855–1879) И. С. Тургеневу / Предисл. и публ. И. Мийе; пер. с фр. предисл. И. Мийе – М. И. Беляевой; ст. К. И. Тюнькина; коммент. И. Мийе и Л. С. Журавлевой // Литературное наследство. Т. 73. Кн. 2. М.: Наука, 1964. С. 148.

мя развернувшихся событий). Наконец, 2 декабря Е. Я. Колбасин писал Тургеневу о схожей реакции В. П. Боткина (о ней упоминал и Дружинин), который также был возмущен самим Некрасовым: «...и чего еще нужно этому Некрасову? разве ему мало – имеет квартиру, экипаж, задает обеды, – и чего еще ему нужно? разве ему этого мало?»¹⁵² Колбасин, впрочем, в этой ситуации был возмущен именно позицией Боткина – показательная позиция для человека, занимавшегося литературой скорее как любитель и не вникавшего в детали отношений между писателями и цензорами.

26 ноября Тургеневу о тех же событиях написал уже П. В. Анненков – и остался одним из немногих участников обсуждения, нейтральным по отношению к редакции журнала:

...к нему <«Современнику»> приставили И. И. Лажечникова вместо Бекетова и велели следовать полицейскому распоряжению, вследствие коего можно и тройкой ездить по улицам, но подвязав колокольчик, беспокоящий всех прохожих, без исключения¹⁵³.

Вероятно, именно сдержанность в суждениях, присущая Анненкову, побудила Некрасова обратиться к нему 6 (18) декабря из Рима:

Вы – и никто более – пришли мне на память, когда я подумал: кто мне может объяснить в точном виде

¹⁵² Тургенев и круг «Современника»... С. 299.

¹⁵³ Анненков П. В. Письма к И. С. Тургеневу / Изд. подгот. Н. Н. Мостовская, Н. Г. Жекулин; отв. ред. Б. Ф. Егоров. Кн. 1. 1852–1874. СПб.: Наука, 2005. С. 50.

меру неприятностей, вызванных моим стихотворением «Поэт и гражданин»? Согласитесь, что мне это нужно знать – в отношении к «Современнику» (в котором я – по убеждению своему и Тургенева – не нашел удобным поместить это стихотворение, как и некоторые другие, явившиеся в книге¹⁵⁴.

Очевидно, сам Некрасов, находившийся, напомним, за границей, плохо понимал произошедшее, однако не сомневался, что отвечал за «историю» с перепечаткой не Чернышевский и даже не цензор, а его соредактор Панаев¹⁵⁵. Именно об этом он писал Тургеневу в тот же день, как отправил письмо Анненкову, то есть даже не разобравшись еще в обстоятельствах дела:

Панаев неисправим, я это знал. Гроза могла миновать «Современник», будь хоть ты там. Такие люди, как он, и трусят и храбрятся – все некстати. Я не меньше люблю «Современник» и себя или мою известность, – недаром же я не решился поместить

¹⁵⁴ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 14. Кн. 2. СПб.: Наука, 1999. С. 43.

¹⁵⁵ Между прочим, 6 декабря датировано и письмо И. С. Аксакова к родным, в котором он обвиняет Панаева в чрезмерно резкой критике славянофилов и выражает надежду, что, вернувшись в Россию, Некрасов и Тургенев «выдерут Панаева за уши и поставят „Современник“ в прежние отношения к „Беседе“ да и к Вам» (Аксаков И. С. Письма к родным. 1849–1856 / Изд. подг. Т. Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1994. С. 469). Очевидно, распределение обязанностей между Панаевым и Чернышевским в отсутствие Некрасова было в точности неизвестно не только Аксакову, но даже самому Некрасову.

«Поэта и гражд<анина>» в «Современнике»? Так нет! надо было похрабриться. Впрочем, Панаева винить смешно: не гнилой мост виноват, когда мы проваливаемся!¹⁵⁶

С точки зрения Некрасова, републикация его стихотворений в журнале была вовсе не злонамеренной провокацией, а непродуманной оплошностью Панаева, к которому серьезных претензий предъявлять было невозможно. Схожего мнения придерживался и сам Тургенев. Например, в письме Л. Н. Толстому от 8 (20) декабря 1856 года он так же, как и Некрасов, называл ответственным за произошедшее Панаева:

...что «Современник» в плохих руках – это несомненно, – Панаев начал было писать мне часто, уверял, что не будет действовать «легкомысленно» – и подчеркивал это слово; а теперь присмирел и молчит, как дитя, которое, сидя за столом, наклало в штаны. Я обо всем написал подробно Некрасову в Рим – и весьма может статься, что это заставит его вернуться ранее, чем он предполагал¹⁵⁷.

Тургенев, как и Некрасов, воспринимал перепечатку стихотворений в «Современнике» не в качестве сознательной

¹⁵⁶ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 14. Кн. 2. С. 41.

¹⁵⁷ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 2. М.: Наука, 1987. С. 161; ср. подборку схожих высказываний Тургенева из писем к другим лицам: *Евгеньев-Максимов В. Е.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. С. 106–107.

политической акции, а как своего рода детскую шалость Панаева.

Таким образом, петербургское литературное сообщество практически единодушно возложило ответственность на сотрудников «Современника». Никто прямо не обвинял в произошедшем цензуру; не упоминался в переписке и Чернышевский. Впрочем, среди литераторов высказывалось два различных мнения: Некрасов и Тургенев, в этот период относившиеся к сотрудникам «Современника», осознавали, что имеют дело не с принципиальной позицией журнала, а с неудачной публикацией, не соответствовавшей установке редакции. Напротив, Гончаров, Дружинин, Боткин и Писемский считали ответственным за случившееся лично Некрасова, а выступление журнала воспринимали как «кукиш в кармане», показанный властям редакцией, не готовой приспособиться к новому времени. Так или иначе, в литературных кругах большинство считало ответственными за произошедшее вовсе не цензоров.

Объяснить такую неожиданную (и неслучайно пропущенную историками литературы) позицию возможно, как кажется, если учесть популярность идеи сотрудничества между правительством и обществом после смерти Николая I. В это время литераторы стремились прощупать возможные пути контакта с цензорами; схожие действия в их отношении предпринимали и либеральные чиновники. В этих условиях обе стороны должны были, разумеется, соблюдать принци-

пиальную осторожность. Публикация и републикация стихотворений Некрасова на этом фоне воспринимались обеими сторонами как резкое нарушение сложившихся конвенций. Именно поэтому реакция на происшествие цензора Гончарова очень близка к реакции Некрасова – редактора самого оппозиционного журнала в России того времени: оба они считали, что действия «Современника» подрывают возможность продуктивного взаимодействия между литературой и властью.

Исключением оказался главный виновник конфликта – Чернышевский, вообще не веривший в возможность сотрудничества цензоров и писателей. 5 декабря 1856 года он общал Некрасову:

Прежде всего я должен сказать Вам, что различные толки и т. п. по поводу Ваших стихотворений далеко не имеют той важности, какую готовы им приписывать иные люди. Месяца два-три, и все успокоится. Вообще, дело не так ужасно, как думают легковерные, хотя и не вовсе приятно. Через два-три месяца все забудется и успокоится¹⁵⁸.

В отличие от большинства литераторов того времени, уже в середине 1850-х годов Чернышевский не писал о якобы хороших отношениях с цензурой, испорченных стихотворениями Некрасова. Именно поэтому он и не пытался су-

¹⁵⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. XIV. М.: Гослитиздат, 1949. С. 329.

дить о произошедшем с точки зрения долговременных последствий: если цензору суждено всегда оставаться оппонентом, нечего огорчаться по поводу очередного столкновения с ним. В конфликте Чернышевского интересовали лишь прагматические последствия – возможные ограничения на публикацию произведений Некрасова или каких-либо других журнальных материалов. Едва ли речь здесь может идти о простом самооправдании или исключительно о желании успокоить адресата: Некрасов на тот момент даже не знал об ответственности Чернышевского за случившееся. В этой связи очень последовательно выглядит его значительно более поздний комментарий, написанный уже в ссылке:

Беда, которую я навлек на «Современник» эту перепечаткою, была очень тяжела и продолжительна. Цензура очень долго оставалась в необходимости давить «Современник» – года три, это наименьшее; а вернее будет думать, что вся дальнейшая судьба «Современника» шла под возбужденным моею перепечаткою впечатлением необходимости цензурного давления на него <...> О том, какой вред нанес я этим безрассудством лично Некрасову, нечего и толковать: известно, что целые четыре года цензура оставалась лишена возможности дозволить второе издание его «Стихотворений»...¹⁵⁹

Переоценивая свою вину, Чернышевский пишет вовсе не

¹⁵⁹ Там же. Т. I. М.: Гослитиздат, 1939. С. 752–753. Цитируемый фрагмент помещен в комментарии; в тексте издания он не воспроизведен.

о значимости конфликта с точки зрения взаимоотношений цензуры и общества, а исключительно о подозрительном отношении цензоров к «Современнику» и к поэзии Некрасова. Иными словами, цензура его беспокоит именно как сугубо негативная сила, которая может только угнетать в большей или меньшей степени: никаких качественных различий в позиции цензоров Чернышевский не видел. Соответственно, никаких надежд на положительное взаимодействие с ними заместитель Некрасова не питал и питать не мог.

Как показали дальнейшие события, в последнем Чернышевский оказался прав: в 1860-х годах надежды на перестройку отношений с цензурой на новых основаниях в целом покинули русских писателей. Отношения писателей и власти в целом, разумеется, могли быть самыми разными, однако в большинстве случаев цензурные репрессии не вызывали ничьей поддержки. 23 июня 1866 года А. В. Никитенко записал в дневнике:

Я не помню давно, чтоб правительственная мера производила такое единодушное и всеобщее негодование, как пресловутый известный рескрипт о запрещении двух журналов: «Современника» и «Русского слова» – последнее, впрочем, потому, что сделано помимо закона (*Никитенко*, т. 3, с. 40).

В этих условиях уже трудно представить себе единодушную и притом в целом терпимую реакцию на цензурные репрессии, характерную для 1856 года.

Отношение к этому конфликту менялось не только у литераторов, но и у цензоров, особенно близких к литературному сообществу. Если в начале скандала Гончаров был склонен обвинять поэта, то в рапорте от 22 апреля по поводу нового издания стихотворений он писал, что запрещать их не следовало:

...имею честь присовокупить, что, с своей стороны, нахожу как домогательство г-на Некрасова о новом издании, так и доводы его справедливыми и основательными, ибо если некоторые его стихотворения, печатавшиеся в разное время в «Современнике», и обращали на себя внимание несколько лет тому назад своею смелостью, то это потому, что о вопросах, которых он касается, не было тогда ни изустных, ни печатных толков, как например о крестьянском вопросе, о вреде пьянства; между тем ныне правительство не стесняет благонамеренных преследований и изображений недостатков и злоупотреблений по этим вопросам <...>

Книга г-на Некрасова до тех пор не перестанет возбуждать напряженное внимание любителей поэзии, ходить в рукописях, выучиваться наизусть, пока будет продолжаться запрещение ее к свободному изданию, как это показывают многочисленные примеры в литературе (*Гончаров*, т. 10, с. 48–49).

Таким образом, отношения между литераторами и цензорами в начале царствования Александра II быстро менялись.

Цензор оказался как бы на границе литературы и бюрократии. С одной стороны, изменения свидетельствуют о развитии и автономизации публичной сферы в России 1860-х годов. В это время столичным литераторам уже не приходило в голову, что печать тесно связана с государством и, по сути, делает одно дело с цензурой. С другой стороны, цензура и литература оставались неотделимы друг от друга: литераторы продолжали учитывать позицию цензоров в своем творчестве (и были лишены возможности поступить иначе), тогда как цензоры были обязаны входить в вопросы их творчества и принимать решения, исходя не только из формальных критериев, но и из общих представлений об эстетической, политической и социальной значимости рассматриваемых произведений. Представителями литературного сообщества такой подход не мог не рассматриваться как вторжение государственных чиновников не в свое дело – и квалификация того или иного цензора (подчас весьма высокая) в этом деле не играла никакой роли. Цензор из процитированного в начале экскурса стихотворения, берущий на себя привилегию решать, что связано с темой погоды, а что нет, – яркий пример именно такого восприятия чиновника от цензуры глазами литератора. Однако за десять лет до того литераторы воспринимали и фигуру цензора, и перспективу взаимоотношений писателя с государством сквозь призму других категорий – и учитывать настроения этого периода исследователям необходимо хотя бы для того, чтобы понимать,

насколько значимы для литераторов 1860-х годов окажутся утрата иллюзий и разочарование в возможности найти общий язык с высокопоставленными бюрократами.

Глава 2

ЗАПОЗДАВШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОНЧАРОВ И ПРОЕКТЫ ЦЕНЗУРНЫХ РЕФОРМ 1850-Х ГОДОВ

Давно назревшая цензурная реформа была задачей далеко не простой. Она требовала согласовать позиции множества ведомств, контролировавших печать и постановки. При этом высокопоставленные чиновники в большинстве своем не желали расставаться с правом контролировать прессу, но стремились избежать ответственности за цензуру, регулярно губившей их карьеры (достаточно вспомнить отставку С. С. Уварова с поста министра народного просвещения, ставшую последствием конфликта с Комитетом 2 апреля 1848 года). Не меньше ожидали реформы и писатели, уставшие от мелочного контроля со стороны цензоров. Как представитель и писательских, и бюрократических кругов, Гончаров стремился участвовать в процессе реформ – с противоречивыми результатами.

Реальная практика цензорской деятельности мешала Гончарову и его единомышленникам использовать цензурное ведомство как эффективный институт, участвующий в ре-

формах. В этих условиях оставалось попытаться сделать цензуру более современной и эффективной. Такая задача, однако, требовала взаимодействия не только с литераторами и рядовыми цензорами, но и с наиболее значимыми государственными деятелями Российской империи, включая императора, способными ускорить и направить ход реформ. В этой главе мы рассмотрим участие Гончарова в нескольких попытках преобразований. Взгляд на эти попытки с точки зрения их рядового участника позволит нам не только уточнить некоторые представления, сложившиеся в исторической литературе. Описывая историю реформ глазами их участников и исполнителей, мы сможем понять, насколько внутренне противоречивы были эти попытки, что станет особенно ясно в финале главы, где мы рассмотрим их на фоне аналогичных процессов, происходивших в немецкоязычных странах.

1. «...действовать по цензуре в смягчительном духе»:

Министр Норов и попытки либерализации цензурного ведомства

Возможность изменить ситуацию в цензуре представилась Гончарову в начале 1858 года, когда товарищ министра народного просвещения Вяземский при участии Гончарова со-

ставил записку министра А. С. Норова о смягчении цензуры, прочитанную в присутствии императора во время заседания Совета министров и встреченную резкой критикой. Никитенко в дневнике излагает этот эпизод так:

Говорят, министр народного просвещения потерпел сильное поражение в заседании совета министров в прошедший четверг, где он докладывал. Начало доклада, по-видимому, было хорошее. Министр прочитал записку о необходимости действовать по цензуре в смягчительном духе. Записку эту писал князь Вяземский с помощью Гончарова. Против Норова восстал враг мысли, всякого гражданского, умственного и нравственного усовершенствования, граф Панин. Он не лишен ума, а главное – умеет говорить. Бедный Норов начал было защищать дело просвещения и литературы, но защита его, говорят, вышла хуже нападок. Панин, разумеется, восторжествовал, и цензуре велено быть строже (*Никитенко*, т. 2, с. 9; запись от 18 января 1858 года).

Исследователи, обращающиеся к этому эпизоду из истории цензуры, обычно ссылаются именно на дневник Никитенко или небольшой фрагмент записки, опубликованный в одном из ведомственных изданий, выпущенных в рамках подготовки цензурной реформы¹⁶⁰.

¹⁶⁰ См.: *Макушин Л. М.* Цензурная программа П. А. Вяземского и первые шаги к гласности (1855–1858) // Известия Уральского гос. ун-та. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2007. № 52. Вып. 22. С. 208. Исследователь

Текст этой записки, однако, сохранился в делах Главного управления цензуры в Российском государственном историческом архиве. На документе за подписью «Авраам Норов» помечено: «Всеподданнейше доложено в Заседании Совета Министров 16 января 1858 г.»¹⁶¹. Записка эта опубликована в Полном собрании сочинений П. А. Вяземского в качестве части статьи «Обозрение нашей современной литературной деятельности с точки зрения цензурной» (*Вяземский*, т. 7, с. 41–47). Эта «статья» Вяземского в действительности представляет собою не единое произведение, а напечатанный подряд текст нескольких его записок о цензуре. Прочитанный Норовым доклад соответствует частям III и IV опубликованного в издании материала, тогда как первая часть, например, – это известная записка Вяземского, в экземпляре которой сохранились пометы Александра II¹⁶². В рукописи доклада есть пометы, принадлежащие, по всей видимости, Норову. Мы не будем перечислять все привлечшие его внимание фрагменты, а охарактеризуем их кратко. Пометы можно поделить на несколько групп.

Во-первых, это рассуждения о том, что различные лите-

ссылается на издание: <Щебальский П. К.> Исторические сведения о цензуре в России. СПб.: Тип. Ф. Персона, 1862. С. 100–101. См. также журнал заседаний Совета министров 18 января 1858 г.: РГИА. Ф. 1275. Оп. 1. № 3а. Л. 13 – 13 об.

¹⁶¹ См.: РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 4335. Л. 3–15. Подпись находится на последней странице документа, а помета о докладе – на первой.

¹⁶² См.: *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969. С. 340–341.

ратурные направления, даже резко критикующие современное положение дел в отечестве, не свидетельствуют о благонамеренности писателей. Открывающее записку перечисление основных направлений русской литературы («нравописательное и, так сказать, исправительное», имеющее целью «отстаивать исторические начала наши» и «ученое, любознательное, испытующее и практическое», *Вяземский*, т. 7, с. 41) отчеркнуто на полях, а около характеристики второго из них (там же) на полях помечено: «Славянофилы». На полях отчеркнут пространный фрагмент, заканчивающийся характеристикой славянофильства как, в сущности, благонамеренного направления:

Борьба с западными нововведениями в нашу русскую жизнь, борьба с духом подражания, вытесняющего из нашего общества дух народной первобытности и самостоятельности, издавна отзывалась во многих из наших благонамеренных и монархических писателей (*Вяземский*, т. 7, с. 42).

Во-вторых, выделены соображения о том, что развитие литературы отражает общественную жизнь и дает разрядку социальной напряженности, а не возбуждает какие-либо опасные порывы:

Умам дала движение не литература наша: напротив, в литературе слабо и поверхностно отзывается движение умов, пробужденных событиями, духом времени, победами науки и усиленную деятельностью

нашей эпохи (*Вяземский*, т. 7, 46).

В-третьих, отчеркнуты рассуждения о плачевном положении цензуры на фоне развития литературы:

Литература должна содействовать и помогать обществу в уразумении и присвоении себе этих побед, одержанных наукою и просвещением в пользу Правительств и в пользу управляемых. <...>¹⁶³ Не только цензура, подведомственная Министерству Народного Просвещения, но и само Министерство, при таком стечении и столкновении разнородных влияний, не может в цензурном отношении действовать по убеждению своему и с полною и законною ответственностию за свои действия (*Вяземский*, т. 7, с. 43–44).

Последний фрагмент выражает ключевую и для авторов записки, и для Норова идею, что цензура находится в намного худшем положении, чем литература: представители всех литературных направлений способны выражать свои убеждения, возникшие под влиянием общественного развития, тогда как цензоры, стесненные многочисленными правилами и вынужденные постоянно оглядываться на мнение других правительственных организаций, не могут следить за литературой «по совести». Большая группа других помет связана именно с этой идеей.

Наконец, четвертая группа помет свидетельствует об

¹⁶³ Пропущенное в цитате предложение не выделено в рукописи записки.

осторожности Норова, стремившегося в заседании Совета министров не вмешиваться в сферу интересов других министров и вообще не поднимать никаких рискованных вопросов. Например, вычеркнуты в тексте слова:

Не входя в дальнейшие подробности, ограничимся заметкою, что ныне богатый и бедный, благодаря науке, отправляются в одном поезде из Москвы в С.-Петербург, а чрез несколько лет будут отправляться из одного конца России в другой (*Вяземский*, т. 7, с. 43).

Вычеркнут и финал записки, содержащий предложение

разрешить <...> допущение в печать благонамеренных ученых рассуждений и практических замечаний по поводу вопросов, возбужденных Высочайшими рескриптами, об улучшении крестьянского быта (*Вяземский*, т. 7, с. 47).

Но подчеркнуты остальные пункты, относящиеся к реформе цензуры:

1. Оставить в прежней силе разрешение говорить в печати <...> о вопросах ученых, современных и общественных...

2. Имея в виду неопределенность и разнообразие толкований и примечаний, которым подвергаются печатные статьи, предоставить посторонним ведомствам входить с своими замечаниями на статьи, которые, по их мнению, признаются предосудительными, в Главное Управление Цензуры...

3. Кроме сего, для большего удовлетворения

требований разных Министерств, с которыми наиболее встречаются соприкосновения, предоставить назначить с их стороны в Москве и Петербурге доверенных чиновников, которые могли бы разрешать возникающие в цензуре вопросы и сомнения... (*Вяземский*, т. 7, с. 47)

Записка Норова, таким образом, выражала программу «либеральных бюрократов» в области цензуры, основанную на изменении методов цензурного контроля и переходе правительства к менее прямолинейным формам взаимодействия с обществом, чем было принято в николаевскую эпоху. Цензура в новых условиях должна была получить возможность действовать более «творчески», направляя литературу в нужную правительству сторону, а не только предотвращать появление в печати суждений, противоречащих тому или иному распоряжению свыше или не устраивающих то или иное ведомство.

Точная атрибуция бюрократических текстов не всегда невозможна: в составлении документов, подобных записке Норова, могли участвовать разные чиновники, никак не обозначавшие своего авторства. Вместе с тем можно делать некоторые предположения о степени участия Гончарова и Вяземского в работе над нею, если принять в расчет своеобразную историко-литературную концепцию записки. Напомним, авторы этого документа полагали, что одним из трех основных направлений в русской литературе является «сатирическое», которое восходит к А. Д. Кантемиру. Его со-

ставители записки определяют как «первого по старшинству из светских наших писателей» (*Вяземский*, т. 7, с. 41). Представителями того же направления названы в записке и другие авторы:

Эту сатирическую стихию находим мы почти везде, равно и в одах Державина, и в баснях Хемницера и Крылова. Эта свобода, Правительством дарованная писателям нашим, никогда не потрясала Государственного и общественного порядка и не ослабляла любви и преданности народа к царям. Напротив, она возбуждала общую признательность к Верховной власти, которая, в лице Екатерины Второй, разрешила журнал «Живописец» и комедию «Недоросль», в лице Императора Павла I приняла посвящение комедии «Ябеда» и в лице Императора Николая I созвала русское общество на представление «Горе (*так!*) от ума» и «Ревизора» (*Вяземский*, т. 7, с. 41–42).

Этот перечень (кстати, тоже выделенный Норовым) явно имеет целью легитимировать «обличительную» литературу второй половины 1850-х годов, показав ее солидную генеалогию, а также отсутствие противоречия между сильной монаршей властью и обличениями на страницах журналов и со сцены. Однако построение этого ряда могло повлиять и на переоценку творчества самого Кантемира: в 1857 году император лично распорядился не переиздавать его сочинений, несмотря на мнение считавшего такое издание бесполез-

ным Норова¹⁶⁴.

Вяземский вряд ли настолько высоко оценивал литературные «обличения». Как явствует из книги «Фон Визин», зрелый Вяземский считал сатирическое направление в русской литературе малозначительным. По его мнению,

Лирика Ломоносова была отголоском полтавских пушек. Напряжение лирического восторга сделалось после него, и, без сомнения, от него, общим характером нашей поэзии. <...> Ломоносов, Петров, Державин были бардами народа, почти всегда стоявшего под ружьем, – народа, праздновавшего победы или готовившегося к новым. <...> Почему Кантемир, также поэт с великим дарованием, не имел последователей, а лирический наш триумvirат подействовал так сильно на склонности поэтов и второстепенных? Потому что для сатиры, для исследования, для суда – общество не было еще готово (*Вяземский*, т. 5, с. 5).

Как и авторы записки, Вяземский в своей книге обращал особое внимание на царствование Екатерины II, однако упоминал не ее благосклонность к сатирической литературе, а способность вдохновить поэта на торжественную оду¹⁶⁵. К тому же Вяземский скорее негативно относился к творчеству И. А. Крылова и вряд ли стал бы особо выделять его в каче-

¹⁶⁴ См.: *Лемке М. К.* Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб.: Тип. Санкт-Петербургского товарищества печ. и изд. дела «Труд», 1904. С. 314.

¹⁶⁵ *Вяземский*, т. 5, с. 6–7.

стве образцового сатирика¹⁶⁶.

Зато концепция «сатирического» направления удивительно напоминает теорию В. Г. Белинского, изложенную в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Критик возводит натуральную школу к сатирическому направлению:

...манера, с какою Кантемир взялся за дело, утверждает за первым направлением преимущество истины и реальности. В Державине, как таланте высшем, оба эти направления часто сливались, и его оды к «Фелице», «Вельможе», «На счастье» едва ли не лучшие его произведения, – по крайней мере, без всякого сомнения, в них больше оригинального, русского, нежели в его торжественных одах. В баснях Хемницера и в комедиях Фонвизина отозвалось направление, представителем которого, по времени, был Кантемир. Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и карикатуру, становится более натуральною по мере того, как становится более поэтической. В баснях Крылова сатира делается вполне художественною; натурализм становится отличительною характеристическою чертою его поэзии. Это был первый великий натуралист в нашей поэзии¹⁶⁷.

¹⁶⁶ См., напр.: *Дрыжакова Е. Н.* Вяземский и Пушкин в споре о Крылове // Пушкин и его современники: Сб. науч. трудов. Вып. 5 (44). СПб.: Нестор-История, 2009. С. 286–307.

¹⁶⁷ См.: *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М.: Худож. лит., 1982. С. 346–347.

Как нетрудно заметить, и логика аргументации, и список авторов в статье Белинского и в записке Норова очень схожи – хотя Белинский, конечно, не относит произведения натуральной школы к особо благонамеренным сочинениям. Для Вяземского Белинский едва ли мог быть серьезным источником историко-литературных построений, тогда как Гончаров несомненно должен был хорошо помнить статью, содержащую подробный разбор его «Обыкновенной истории», и оценивал Белинского в целом достаточно высоко.

Есть в записке и следы мнений самого Вяземского. Так, сопоставление славянофилов с А. С. Шишковым, возникающее на страницах анализируемого документа (*Вяземский*, т. 7, с. 42), проводилось в его записке «О славянофилах» (1855):

Обращаясь к прозвищу славянофилов, нельзя не заметить, что это прозвище насмешливое, данное одной литературною партией другой партии. Это чисто семейные, домашние клички. Лет за сорок перед этим мы же, молодые литераторы карамзинской школы, так прозвали А. С. Шишкова и школу его (*Вяземский*, т. 7, с. 28).

Хотя Вяземский в собственных статьях и не отводил сатирическому направлению такого места в русской литературе, как составители записки Норова, он тоже обратил на него внимание в упомянутой выше записке о цензуре, прочитанной Александром II, и перечислил его предшественни-

ков XVIII века (хотя список этот и не вполне похож на приведенный в статье Белинского и записке Норова):

С давних времен Сумароков, Фонвизин, позднее Капнист и многие другие преследовали на театрах, в сатирах, романах русское крючкотворство, подьячество, ябедничество, взяточничество и злоупотребления помещичьей власти <...> в прежние времена эти нападки были отдельные, временные; ныне они приняли объем более обширный, характер более постоянный и систематический. Можно бы назвать это направление *следственной литературой* (Вяземский, т. 7, с. 34–35).

Ни Гончаров, ни Вяземский «следственную литературу» не любили, однако перед лицом императора готовы были ее защищать, чтобы убедить его в необходимости менее репрессивного подхода к цензуре. В одной из записок о цензуре, написанных рукою Вяземского, товарищ министра народного просвещения предлагал осуществить «укрощение так распространившейся в журналах литературы полицейской, следственной, уголовной» и противопоставил ее представителей (видимо, в первую очередь М. Е. Салтыкова-Щедрина) Н. В. Гоголю, который «облекал свои указания и жалобы на злоупотребления в художественные формы»¹⁶⁸. В поданных на высочайшее имя записках таких предложений не содержится: Вяземский, видимо, руководствовался

¹⁶⁸ РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 754а. Л. 5 об.

не своими литературными предпочтениями, а соображениями общественной пользы.

Каковы бы ни были взгляды Норова, Вяземского и Гончарова на историю русской литературы, их позиции по отношению к ее настоящему и по цензурному вопросу были в целом близки. Все они считали, что современная литература, при всех ее недостатках, соответствует или, по крайней мере, стремится соответствовать общественным потребностям. В этих условиях цензура должна, по их мнению, не стеснять литературу, а, напротив, по возможности поддерживать ее. Иными словами, цензура могла бы стать не репрессивным учреждением, а своего рода каналом связи между правительством и обществом. Идею о посреднической функции цензуры, видимо, пытался выразить тот же Вяземский в упомянутой неопубликованной записке о цензуре: «цензора – люди присяжные, с тою разницею пред другими, что они не избираются обществом, а назначаются верховной властью»¹⁶⁹. Позицию правительства Вяземский представлял так: «Ты мой избранник, мой присяжный! Полагаюсь на твое благоразумие, на твою проницательность, благонамеренность: ряди и суди по совести, по внутреннему убеждению своему»¹⁷⁰. До некоторой степени доклад Норова, возможно, повлиял на смягчение цензурного режима по отношению к прессе, обсуждавшей серьезные политические во-

¹⁶⁹ РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 754а. Л. 1 – 1 об.

¹⁷⁰ Там же. Л. 1 об. – 2.

просы¹⁷¹. Впрочем, замысел, исходивший от Вяземского и Гончарова, мог привести к каким бы то ни было последствиям для прессы уже при новом министре: Норов вскоре после обсуждения в Совете министров ушел в отставку, а за ним последовал и Вяземский.

Однако главным результатом обсуждений цензурных дел стало появление 24 января 1859 года Комитета по делам книгопечатания – организации с неопределенными полномочиями, которая должна была обеспечивать связь между правительством и литературой, не прибегая к репрессивным цензурным мерам. Хотя исследователи очень низко оценивают эффективность этой организации, стоит все же отметить, что ее создатели стремились реализовать реформаторскую идею, согласно которой правительство могло вступить с литературой в диалог¹⁷². И в этом случае Гончаров казался организаторам комитета потенциальным сотрудником. Этой возможностью писатель не воспользовался, но описал ее в письме А. Н. Майкову от 11 апреля 1859 года:

Вы спрашивали меня, что новый Комитет? Не знаю, право. Мне предложена была честь принять в нем участие, в качестве управляющего канцелярией и,

¹⁷¹ См.: *Макушин Л. М.* Цензурная программа П. А. Вяземского... С. 208.

¹⁷² См.: *Лемке М. К.* Очерки по истории русской цензуры... С. 328–368. См. также корректирующее выводы Лемке современное исследование: *Макушин Л. М.* Бессильное Bureau de la presse и несостоявшееся «министерство цензуры» // Известия Уральского гос. ун-та. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2008. № 56. Вып. 23. С. 267–277.

кажется, совещателя, но – гожусь ли я? Я поблагодарил и уклонился, указав им на Никитенко, который знает и любит литературу. Вследствие этого Комитет, как я слышал, благосклонен к литературе и, кажется, затевает отличное дело – издавать газету, орган правительства, в которой оно будет действовать против печатных недоразумений (я не говорю *злоупотреблений*, как некоторые называют: при цензуре их быть не может) также путем печати и литературы: дай бог!¹⁷³

Хотя отношение Гончарова к новой организации было, очевидно, далеко от восторженного, писатель продолжал верить, что цензор должен не только разбираться в литературе, но и любить ее. С этим соглашались и многие другие чиновники.

2. Гончаров в министерстве цензуры: Об одном несостоявшемся проекте реформ

В следующий раз о Гончарове вспомнили, когда очередная реформа едва не привела к созданию особого министерства цензуры. Попытка организовать такое ведомство под руководством М. А. Корфа – один из самых странных эпизодов в истории отношений государственной власти и печати при Александре II. Исследователи в целом описали внешнюю сторону событий: 12 ноября 1859 года император под-

¹⁷³ Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: ГИХЛ, 1955. С. 270.

держал высказанную министром народного просвещения Е. П. Ковалевским идею создать специальное цензурное ведомство, не подчиненное ни одному из министерств (и тем самым избавить Ковалевского от руководства цензурой, которое не вызывало у министра никакого энтузиазма), и поручил Корфу возглавить его и набрать сотрудников. Но в силу многочисленных причин, не последней из которых оказалось стремление Корфа купить за счет казны дорогое здание для будущего ведомства, уже 12 декабря от проекта решено было отказаться¹⁷⁴. Этот короткий эпизод не привел ни к каким значимым последствиям для печати, однако представляет интерес не только для истории отношений государства и литературы, но и для служебной карьеры И. А. Гончарова. Корф предложил Гончарову, на тот момент хотя и известному писателю, но рядовому цензору, место председателя Петербургского цензурного комитета. Гончаров, конечно, согласился, однако вскоре после высочайшего отказа создавать специальное цензурное ведомство Александр II, возможно недовольный предложениями Гончарова по кадрово-

¹⁷⁴ См.: *Лемке М. К.* Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов. СПб.: Типо-лит. «Герольд», 1903. С. 15–25; *Герасимова Ю. И.* Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х – начала 1860-х гг. М.: Книга, 1974. С. 80–81; *Чернуха В. Г.* Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы XIX века. Л.: Наука, 1989. С. 64; *Ружицкая И. В.* Просвещенная бюрократия (1800–1860-е гг.). М.: Ин-т рос. истории, 2009. С. 233–234; *Патрушева Н. Г.* Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX – начале XX века. СПб.: Северная звезда, 2013. С. 82–86.

му составу будущего комитета, решил не повышать Гончарова в должности, после чего писатель немедленно ушел в отставку¹⁷⁵.

Чтобы понять намерения Гончарова, следует учесть, каковы были планы Корфа на посту руководителя цензурного ведомства и какой службой собирался заниматься Гончаров под его началом. С одной стороны, есть свидетельства в пользу того, что Корф как цензор был скорее настроен консервативно и собирался подвергать литературу жесткому контролю. Об этом писал уже А. И. Герцен, окрестивший несостоявшееся министерство или управление цензуры «мертворожденной цензурой Корфа». Издатель «Колокола» обратил внимание на то, что Корф был автором неоднократно переиздававшейся под разными заглавиями книги о восстании декабристов, написанной, разумеется, в тоне апологетическом по отношению к Николаю I. Очевидно, в отношении печати Корф тоже был не чужд цензурной политике этого императора: именно он был последним председателем Комитета 2 апреля 1848 года, наиболее одиозного цензурного учреждения в истории Российской империи. Об этом Герцен высказался в заметке «Ай да Корф!»:

А тут есть добрые люди и плохие музыканты,

¹⁷⁵ См.: Мазон А. Гончаров как цензор: К освещению цензурской деятельности И. А. Гончарова // Русская старина. 1911. № 3. С. 473–477; Калинина Н. В. Эпизод из жизни романиста: Как И. А. Гончаров стал редактором правительственной газеты // Чины и музы: Сб. статей / Отв. ред. С. Н. Гуськов. СПб.; Тверь: Изд-во М. Батасовой, 2017. С. 332–356.

которые воображают, что человек, писавший поэму в прозе о воцарении Николая, сидевший с Бутурлиным в осадной цензуре, будет менее вреден, чем ценсурный сброд (*Герцен*, т. 14, с. 226)¹⁷⁶.

С другой стороны, Корф был известен склонностью к либеральным цензурным реформам: именно по его предложению Бутурлинский комитет был закрыт, а в 1864 году он предложит нереализованный проект, предполагающий фактическую ликвидацию иностранной цензуры как ведомства¹⁷⁷. Трактовки позиции Корфа как чиновника в научной литературе также расходятся: если одни исследователи склонны видеть в нем яркого представителя «либеральной бюрократии»¹⁷⁸, то другие считают, что Корф был принципиальным противником свободы слова и считал необходимым подавление общественного мнения¹⁷⁹.

Замечания современников, даже хорошо осведомленных, также не проясняют картины. Так, А. В. Никитенко, с одной стороны, утверждал, что Корф предлагал либеральную про-

¹⁷⁶ Ср. также статью «Souvenirs modestes о мертворожденной цензуре Корфа», свидетельствующую о прекрасной осведомленности Герцена в закулисных подробностях правительственной политики (*Герцен*, т. 14, с. 445–448).

¹⁷⁷ *Гусман Л. Ю.* История несостоявшейся реформы: Проекты преобразования цензуры иностранных изданий в России (1861–1881 гг.). М.: Вузовская книга, 2001. С. 43–64.

¹⁷⁸ См.: *Ружижская И. В.* Указ. соч.

¹⁷⁹ См.: *Долгих Е. В.* К проблеме менталитета российской административной элиты первой половины XIX века: М. А. Корф, Д. Н. Блудов. М.: Индрик, 2006. С. 72–78.

грамму, а с другой – явно сомневался в его добросовестности:

Корф сделал большую ошибку, разгласив между литераторами, что будет следовать либеральной системе. Он, таким образом, возбудил надежды и притязания, которых сам не будет в состоянии выполнить. Тогда придется поворотить назад. Корф слишком поспешил добиваться популярности, а главная ошибка, что он показал свое желание ее добиваться (Никитенко, т. 2, с. 103; запись от 22 ноября 1859 г.).

Никитенко вообще относился к Корфу и его предприятиям скептически и не доверял ему. Так, 29 ноября он записал:

Зачем звал меня Корф? Не понимаю! Не полагал ли он, что я буду просить его взять меня в новый цензурный комитет? В таком случае он ошибся. В заключение он просил меня повидаться с Тройницким (Александром Григорьевичем) для объяснений – каких, о чем? Покрыто мраком неизвестности (Никитенко, т. 2, с. 104).

Корф пытался разузнать, не желает ли Никитенко служить у него, как видно из письма А. Г. Тройницкому от 28 ноября, где адресату предлагалось выяснить у Никитенко следующее:

1) Считают ли чиновники Комитета, что мы их к себе переведем? 2) Рассчитывает ли на это сам г. Никитенко в отношении к своему лицу? Из последнего моего с

ним разговора кажется, что нет; но желательно было бы *положительнее* о том удостовериться¹⁸⁰.

Действительная программа Корфа как руководителя цензурного ведомства в целом остается неясна: в немногочисленных сохранившихся документах, уже рассмотренных исследователями, по преимуществу обсуждаются вопросы финансирования будущей организации и подбора кадров. Тем не менее некоторое представление о целях Корфа можно составить на основании его официальных докладов и переписки с будущими подчиненными. Не считая оставшихся неизвестными устных высказываний, главной «инструкцией», которую Корф получил от императора, была не опубликованная, но неоднократно цитировавшаяся в научной литературе записка «О недостатках в настоящем управлении Цензурою и о средствах к исправлению их», поданная Ковалевским 5 ноября. В ней обосновывалась необходимость реформы цензурного ведомства. Главные аргументы Ковалевского, как уже отмечали исследователи, сводились к неэффективности администрации: разбросанности цензурных дел по разным ведомствам, отсутствию руководства, способного посвящать все свое время цензурным делам, нехватке ясных и актуальных инструкций для рядовых цензоров¹⁸¹.

¹⁸⁰ О несостоявшемся министерстве цензуры: Из бумаг А. Г. Тройницкого // Русский архив. 1896. № 6. С. 297.

¹⁸¹ См. подробнее: *Патрушева Н. Г.* Цензурное ведомство... С. 80–82. Подоб-

Отношение к литературе, которое рекомендовал Ковалевский, с одной стороны, было очень покровительственным, а с другой – подразумевало необходимость поощрять ее независимое развитие. Министр считал писателей пока что не заслужившими независимого положения фигурами, нуждающимися в поддержке: «...наша литература далеко еще не достигла до того положения, в котором находятся литературы других европейских государств; для ее юности потребно руководство, предостережение»¹⁸². В то же время важен контекст, в котором Ковалевский высказывал эту идею. Министр писал о необходимости «руководства» литературой, чтобы опровергнуть необходимость заменить предварительную цензуру «взыскательною или репрессивною (существующею во Франции и других европейских государствах)» (л. 36). Однако когда Ковалевский переходил к перечислению причин «незрелости» русской литературы, его аргументация изменялась. Несамостоятельность писателей он доказывал, ссылаясь на их склонность к подражанию. Среди примеров министр привел распространение «обличительной» литературы, появившейся после публикации «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина: «У нас явился свой писатель, обладающий даром повествования и написавший бой-

ные идеи высказывали и другие высокопоставленные сановники, обсуждавшие в это время цензурные вопросы, в том числе старый знакомый Корфа Д. Н. Блудов (см.: Там же. С. 75).

¹⁸² РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 5033. Л. 36 об. Далее это цензурное дело цитируется с указанием листа.

ко несколько статей, обличающих злоупотребления местных властей, – и за ним потянулась целая фаланга подражателей» (л. 38 об.). При этом Ковалевский считал развитие «обличительной» литературы в целом заслуживающей одобрения тенденцией, которая, на его взгляд, свидетельствовала о «благонамеренности» литературы в целом: «Самое размножение так называемых обличительных статей не доказывает ли пылкого, юношеского стремления к исцелению язв, которыми страдает наша низшая администрация» (л. 39). Таким образом, даже «незрелое», но самостоятельное развитие литературы оказывалось, с точки зрения Ковалевского, вполне согласовано с видами государства: конечной целью нового ведомства, похоже, должно было стать не полное подчинение литературы воле правительства, а превращение ее во что-то подобное «литературам других европейских государств», которые министр упоминал в качестве образца.

В отличие от Ковалевского, Корф отнюдь не собирался поддерживать развитие литературы как хотя бы частично независимого от государства института. Уже 13 ноября он сообщил Александру II о своих планах, подразумевавших совершенно иное отношение к писателям и, более того, совершенно переосмысленный категориальный аппарат для описания отношений между литературой и властью¹⁸³. Корф

¹⁸³ Доклад Корфа был частично включен автором в мемуарный очерк «Шестинедельный эпизод моей жизни» (см.: Долгих Е. В. К проблеме менталитета... С. 247–249).

противопоставлял «покровительственную» и «карающую» цензуру, что, на первый взгляд, очень напоминает оппозицию «руководства» литературой и «взыскательной» цензуры у Ковалевского. Однако Корф вкладывал в эти слова совершенно иное значение, скорее не юридическое. Он даже не пытался обсуждать введение карательной цензуры, действующей после публикации произведения. Для него «покровительственный» взгляд на литературу выражался прежде всего в характере личных отношений между императором, руководителем цензурного ведомства и писателями. Признавая, что надзор за литературой «совершенно еще у нас необходим» (л. 46), Корф предлагал цензуре

придать, вместо теперешнего, исключительно *контролирующего* и *карающего* характера, и характер *покровительственный*. Рядом с угрозой неупустительных взысканий за *дурное* Правительство должно поставить и свою заботу *о добром*, т. е. показать, что ему дороги и близки успехи отечественной науки и литературы и что оно желает подробнее ознакомиться с их нуждами и пособлять им в чем от него зависит (л. 46).

Вместо сложного бюрократического аппарата Корф предлагал основать отношения между писателями, цензорами и высшей государственной властью на личном доверии. Самую общую проблему этих отношений он, что характерно, формулировал именно как индивидуальный конфликт: «...

цензура в существе всегда будет вещью ненавистною, потому что она стесняет выражение человеческой мысли и каждый писатель видит в цензоре всегда как бы личного своего врага» (л. 45 об.). Решением этой проблемы для Корфа было «личное между главным начальником цензуры и нашими писателями сближение, посредством которого он мог бы, направляя действие одних, останавливать, по крайней мере, до некоторой степени, легкомыслие или злой умысел других» (л. 46). В этой модели отношений, в отличие от предложенной Ковалевским, никакой самостоятельной активности литературы не предполагалось, – по крайней мере, о ней не упоминалось. Корф был готов открыть литераторам «всю свободу личного ко мне доступа, сколько для внимательного выслушивания мною их желаний и просьб, столько и для направления их трудов к истинным пользам государства и науки» (л. 48). Очевидно, он не верил в способность писателей направить свои труды к полезной цели без посторонней помощи. Сам руководитель цензурного ведомства, впрочем, должен был не принимать решения самостоятельно, а прежде всего транслировать «Высочайшее покровительство» литературе (л. 48 об.). Лакмусовой бумажкой оказалось отношение Корфа к «обличителям», очень далекое от предлагавшегося Ковалевским. Оправдывая императорское покровительство, писателям нужно было не самостоятельно обличать недостатки (как предлагал Ковалевский), а ограничить критику сложившегося порядка: «...из нашей литера-

туры исчезнут те мелкие личности и тот дух опрометчивого порицания всего существующего, которые не способствуют улучшениям» (л. 48 об.). Наконец, все литераторы должны, согласно Корфу, быть ответственными за политические последствия своих писаний:

...избегать слепой подражательности, которую вводятся понятия, чуждые исторической жизни нашего государственного устройства и наших нравов и потребностей, и будут постоянно иметь в виду, что печатное слово проникает не в одни образованные сословия (л. 49).

Если Ковалевский рассматривал «подражательность» как внутренний недостаток литературы, то Корф – как источник чуждых и опасных идей, способных проникнуть в низшие сословия.

Можно, конечно, предположить, что опытный в придворных интригах Корф не был до конца искренен. Его доклад был прежде всего рассчитан на императора и согласован с ним заранее: Корф с самого начала ссылаясь на «выражение того Высочайшего намерения, которое я удостоился лично слышать от Вашего Величества» (л. 45 об.), а император вполне поддержал его планы по новому руководству цензурой, как явствует из его одобрительных помет на полях текста доклада. Однако работать Корфу предстояло прежде всего не с Александром, а с рядовыми цензорами и писателями. Как новый руководитель цензуры собирался обращаться с

ними, видно из его письма С. А. Соболевскому. Согласно замыслу Корфа, именно Соболевский должен был возглавить Московский цензурный комитет, то есть стать коллегой Гончарова по службе. Соболевский никогда не служил по цензурному ведомству и вообще уже много лет был в отставке, однако лично был хорошо известен Корфу. Их переписка, сохранившаяся в фонде Соболевского в Российском государственном архиве литературы и искусства, продолжалась много лет. По преимуществу она посвящена разного рода редким изданиям, которые Соболевского интересовали как известного библиофила, а Корфа – как директора Императорской публичной библиотеки. Судя по письмам, Корф считал Соболевского своим единомышленником и с удовольствием встречался с ним, когда бывал в Москве или когда Соболевский посещал Петербург. Большинство писем Корф писал на французском, хотя иногда переходил и на русский. Интересующее нас письмо от 24 ноября 1859 года написано частью на французском, частью на русском. На французском Корф сообщал о создании под собственным руководством «новой, совершенно отдельной администрации», возможно министерства, которое будет руководить всей российской прессой, а также предлагал адресату место председателя Московского комитета с окладом в 3500 рублей, требуя принять решение до 1 декабря¹⁸⁴.

Казалось бы, Корф, составляя не официальную записку

¹⁸⁴ См.: РГАЛИ. Ф. 450. Оп. 1. № 14. Л. 413 – 413 об.

на имя государя, а доверительное письмо единомышленнику и будущему подчиненному, должен был сообщить Соболевскому что-то конкретное, однако изложение целей нового ведомства представляет собою просто сокращенный фрагмент из уже цитированного доклада императору (возможно, именно поэтому автор письма перешел в этом месте на русский язык):

...вместо одного характера, преследовательного и карательного, который до сих пор составлял свойство цензуры, присоединить к нему и характер покровительственный; изъявить сочувствие Государя к делу отечественной литературы и науки, и новое установление назвать «Главным управлением по делам книгопечатания», образовав его в виде отдельного и самостоятельного государственного учреждения¹⁸⁵.

По всей видимости, Корф действительно собирался управлять цензурой именно так, как он и обещал царю – по крайней мере, Соболевскому он сообщил то же самое.

Таким образом, Корф планировал быть либеральным лишь в одном, очень ограниченном смысле – в смысле открытости руководства цензурного ведомства для писателей. Сановник действительно в некотором смысле относился к литературе очень доброжелательно, но сам его подход к решению своих задач был совершенно анахроничен. Очевидно, цензуру он воспринимал прежде всего не как часть бю-

¹⁸⁵ РГАЛИ. Ф. 450. Оп. 1. № 14. Л. 413 – 413 об.

рократического аппарата, направленную на взаимодействие с общественным мнением, а как прямое выражение воли монарха. Характеризуя взгляды Корфа и Блудова, современный историк пишет:

...синкретическим понятием была для них власть. С одной стороны, это высшая вневременная неподвижная сила, которая дает структуру и удерживает порядок в мире людей. С другой стороны, от нее неотделимы современные, исторически условные, утилитарные и часто неэффективные государственно-административные учреждения. Такое совмещение позволяло сановникам видеть в государстве средоточие социального бытия. <...> Это миропонимание находило логическое завершение в императорском культе¹⁸⁶.

Очевидно, литература, с точки зрения Корфа, должна была подчиниться государству и лично государю. Стремление Корфа «покровительствовать» литературе связано с тем, что, по его мнению, патроном литературы должен был быть не цензор, а непосредственно Александр II: это император сочувствовал «делу отечественной литературы и науки», цензура же должна была лишь выражать это сочувствие.

Литературу Корф воспринимал не как выражение общественного мнения, а как объект патронажа со стороны императора. Цензурное ведомство могло, в зависимости от расположения монарха, как быть агентом высочайшего покро-

¹⁸⁶ Долгих Е. В. К проблеме менталитета... С. 230.

вительства, направляя литераторов на «полезный» для государства путь, так и играть репрессивную роль, принимая «преследовательный и карательный» характер. Даже в первом случае литература для Корфа представляла собою прежде всего не автономное поле, где могло выразить себя общественное мнение, а занятие подданных, которых монарху было угодно облагодетельствовать. Предложенное Корфом понимание литературы сквозь призму института патронажа безнадежно устарело еще при жизни Пушкина¹⁸⁷. Показательна реакция В. Ф. Одоевского, видимо узнавшего о планах Корфа из приглашения служить в новом цензурном ведомстве (см. ниже). Среди бумаг Корфа сохранилась его записка о цензуре, где, в частности, утверждается, что современное общество неспособно на такого рода отношения с властью:

Общественное мнение сильно взволновано <...> Много, много толков; вспоминают и Комитет 2 апреля; общее во всем этом – недовольство сильное, глубокое <...> При таком настроении умов никто не поверит, чтобы *покровительство* действительно имелось в виду; словами не уверишь, необходим какой-либо *реальный факт*, коим бы обозначался характер нового установления¹⁸⁸.

¹⁸⁷ См.: Тодд У. М. III. Литература и общество в эпоху Пушкина. СПб.: Академический проект, 1996. С. 62–67.

¹⁸⁸ ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. № 2612. Л. 95.

Разумеется, в эпоху 1850–1860-х годов, с характерным для нее бурным развитием государственного аппарата и общественных институций, с появлением и все большим распространением новых журналов и газет, с обилием литературных и политических дискуссий, общество едва ли могло позволить Корфу стать хорошим начальником цензурного ведомства. В некотором смысле система Корфа была еще хуже, чем медлительный и малоэффективный бюрократический аппарат цензурного ведомства, которому она должна была прийти на смену: вместо ясных правил и по возможности формализованных инструкций Корф предлагал модель, скорее характерную для эпохи Державина, когда поэт пользовался личным покровительством императрицы, а (хороший) вельможа должен был оказаться посредником, передающим это покровительство.

Исходя из всего сказанного выше, можно предположить, почему Корф пригласил на службу Гончарова. На руководящие посты, по всей видимости, предполагалось назначить людей, способных в первую очередь не к бюрократическому контролю, а к личному взаимодействию с литераторами, готовых донести до этих литераторов высочайшее покровительство и направить их труды так, чтобы они оказались полезны для государства¹⁸⁹. В этой связи председатели цензурных комитетов должны были быть прежде всего не хороши-

¹⁸⁹ См. также о нежелании Корфа служить вместе с сотрудниками III отделения: *Ружницкая И. В.* Просвещенная бюрократия... С. 233–234.

ми чиновниками, а заслуживающими личное доверие руководства (в том числе самого Корфа) людьми, входящими в то же время в писательские круги. Соболевский был не просто знаком со многими литераторами – он был человеком эпохи Пушкина, представителем хорошо знакомого Корфу литературного прошлого; вместе с тем он был и старым приятелем самого Корфа. В «Шестинедельном эпизоде моей жизни» Корф обратил внимание именно на противоположность его высоких личных качеств и светского и литературного авторитета низкому рангу в чиновничьей иерархии: государь

...безусловно соизволил <...> на довольно дерзкую мысль – определить Председателем Московского Комитета (должность 4-го класса) находящегося лет более 30-ти в отставке Соболевского, человека необыкновенного ума, такта и находчивости и пользующегося в Москве особенным весом как в высшем обществе, так и между литераторами, но одержимого тем страшным, в рутинных наших понятиях, пороком, что он – всего Коллежский Секретарь¹⁹⁰.

24 ноября Корф не без гордости сообщил императору, что ему удалось убедить стать членом нового ведомства В. Ф. Одоевского, который, хотя и носил высокий придворный чин гофмейстера, тоже был скорее литератором, чем бюро-

¹⁹⁰ Долгих Е. В. К проблеме менталитета... С. 252.

кратом¹⁹¹. Гончаров в этом отношении оказался еще более удачной кандидатурой: это был не просто крупный и успешный писатель, уже служивший в цензуре, а еще и воспитатель императорских детей, то есть фигура по определению близкая к престолу и облеченная монаршим доверием¹⁹². Для Корфа это был идеальный сотрудник в силу своего места в литературе и обществе того времени, а не личных представлений о цензуре.

Гончаров, соглашаясь служить под началом Корфа, едва ли знал, каким образом его потенциальный новый руководитель понимал функции цензуры, зато несомненно знал об уготованном ему повышении. Об этом явно свидетельствует письмо Гончарова Корфу, датированное 2 декабря 1859 года. Гончаров, рекомендуя Корфу Л. Л. Добровольского на должность цензора, в частности, пишет, что тот «установится на той точке и взгляде, которые Вашему Высокопревосходительству угодно будет нам указать»¹⁹³. Из этой формулировки следует, что к этому моменту никаких определенных «точки и взгляда» Гончаров от Корфа не получил. Упомянув об этом, он, по всей видимости, осторожно намекал начальству, что желал бы получить более полные инструкции

¹⁹¹ См.: Там же. С. 277–278.

¹⁹² См.: Балакин А. Ю. Гончаров – учитель царских детей // Балакин А. Ю. Разыскания в области биографии и творчества И. А. Гончарова. Изд. 2-е, пересмотр. и доп. М.: ЛитФакт, 2020. С. 181–195.

¹⁹³ ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. № 2612. Л. 120 об. – 121.

относительно дальнейших обязанностей.

Очевидно, писатель был настолько недоволен своей текущей цензурской службой, что готов был уйти на новое место, даже не зная еще точных условий работы. В тот же день Гончаров обратился к Корфу с другим письмом, где речь шла о его командировке в Москву: «Приказания Ваши относительно свидания с г. Соболевским буду иметь честь исполнить в точности»¹⁹⁴. Через два дня, 4 декабря, Гончаров действительно был отправлен в отпуск в Москву¹⁹⁵, где, скорее всего, и встретился с Соболевским. Что конкретно приказал Корф Гончарову, остается неизвестно, однако, вероятно, в ходе беседы с Гончаровым Соболевский мог объяснить петербургскому коллеге те принципы работы нового цензурного ведомства, о которых узнал из письма Корфа и о которых Гончаров спрашивал своего потенциального руководителя. Едва ли уже обладавший немалым опытом цензурской работы и понимавший, какими проблемами в контактах с писателями они чреваты, Гончаров мог быть в восторге от этих объяснений. Но от любых возможных сомнений по поводу нового руководства, а также от совместной службы в цензуре с Соболевским и Одоевским под началом Корфа Гончарова

¹⁹⁴ ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. № 2612. Л. 123. Л. Л. Добровольский, секретарь канцелярии министра народного просвещения, в литературных кругах, по всей видимости, не вращался, зато его отец был хорошим знакомым Пушкина (см.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л.: Наука, 1989. С. 141–142).

¹⁹⁵ См.: РГИА. Ф. 777. Оп. 2. № 50. Л. 49.

избавило неожиданное решение императора, отказавшегося создавать новое министерство.

Многочисленные неудачные попытки реформы цензурного ведомства, как кажется, свидетельствовали о фундаментальных противоречиях в проекте цензуры, предложенном «либеральной бюрократией» и предполагавшем роль цензора как посредника в коммуникации между властью и обществом. Выполнять эту функцию в рамках правил общей цензуры 1850-х годов, как быстро понял Гончаров, было невозможно. Вместе с тем статус литератора оказался небесполезен для цензорской карьеры: не всякий рядовой цензор мог оказаться в числе соавторов товарища министра народного просвещения или получал предложение возглавить цензурный комитет. Проницательно, хотя и недоброжелательно отметил это А. И. Герцен, подвергавший на страницах «Колокола» очень резкой критике и Норова, и Вяземского, и Гончарова как архитекторов новой цензуры (см., напр., *Герцен*, т. 13, с. 292, 598). Издатель «Колокола» был во многом прав: символический капитал и литературные познания Гончарова, знавшего, например, творчество Белинского, действительно активно использовались «либеральными бюрократами».

Реформаторские идеи первых лет правления Александра

II способствовали обновлению кадрового состава цензурных комитетов. По крайней мере, некоторые новые цензоры были убеждены в значимости литературы и государства друг для друга и стремились выступить в роли посредников между писательским сообществом и правительством. Однако для осуществления подобной посреднической миссии не хватало развитых институтов литературы и цензуры. С одной стороны, цензор мог обратиться лишь к отдельным литераторам или редакторам, с которыми поддерживал личные доверительные отношения, причем по службе обязан был соответствовать очень формализованным критериям работы. С другой стороны, несмотря на первоначальную готовность писателей к диалогу с цензорами, непрозрачность, бюрократизм и архаичность самой цензуры как организации быстро привели к разочарованию, ярко проявившемуся, например, в письмах Анненкова к Гончарову. Многочисленные попытки реформы цензуры даже не касались этой фундаментальной проблемы. Напротив, они свидетельствуют о том, насколько архаична была модель покровительства писателям от имени правительства, в рамках которой рассуждали чиновники типа Корфа, хорошо помнившие литературную ситуацию начала XIX века.

Можно, конечно, сказать, что служба Гончарова в цензуре свидетельствует о наивности писателя, однако подобные взгляды разделял не только он. Идея посредничества между обществом и носителями власти была исключитель-

но популярна в эпоху подготовки Великих реформ. Достаточно вспомнить огромные надежды, возлагаемые и правительством, и литературой на мировых посредников, функцией которых было как раз обеспечить взаимодействие между сообществом крестьян, помещиками и полицейской властью¹⁹⁶. Фигура цензора-«посредника», видимо, тоже казалась современникам перспективной и интересной.

Причины неудачи Гончарова как либерального цензора становятся понятнее, если обратиться к европейскому контексту. Установка на цензурную деятельность как «посредничество» может быть сопоставлена, например, с позицией некоторых прусских цензоров до революции 1848 года. Так, немецкий правовед А. Ф. Бернер характеризовал прусских цензоров именно как «заслуживающих доверия посредников между правительством и образованной публикой»¹⁹⁷. Действительно, в немецкоязычных странах к цензурным обязанностям власти привлекали литературно одаренных людей, стремившихся так или иначе соответствовать

¹⁹⁶ См.: *Easley R. The Emancipation of the Serfs in Russia: Peace Arbitrators and the Formation of Civil Society*. London; New York: Routledge, 2008. P. 148–172.

¹⁹⁷ Цит. по: *Lenman R. Germany // The War for the Public Mind: Political Censorship in Nineteenth-Century Europe / Ed. R. J. Goldstein*. Westport, Connecticut; London: Praeger, 2000. P. 46. О личном составе, образовательном уровне и литературных связях прусских цензоров эпохи до 1848 года, среди которых встречались, например, знакомые И. В. Гёте и Ф. Шиллера, см. также: *Holtz B. Eine mit «Intelligenz ausgerüstete lebendig wirksame Behörde». Preußens zentrale Zensurbehörden im Vormärz // Zensur im 19. Jahrhundert: Das literarische Leben aus Sicht seiner Überwacher*. Bielefeld: Aesthesis Verlag, 2012. S. 162–168.

не только должностным инструкциям, но и ожиданиям общества. Дело, однако, в том, что происходило это именно до водораздела 1848 года, в рамках предварительной цензуры, которая должна была «воспитывать» и «просвещать» литературу. После 1848 года такое покровительственное отношение к литературе со стороны цензоров стало невыносимым. Аналогичный российскому переход от «запрещающей» к «направляющей» цензуре был связан с выработкой новой концепции литературы, в рамках которой государство должно было опираться на ту или иную группу литераторов. Например, в Австро-Венгрии он осуществлялся уже после революционных событий 1848 года, чтобы либерализовать контроль за печатью и снизить социальное напряжение¹⁹⁸. Разумеется, в условиях послереволюционного общества цензор мог восприниматься исключительно как выразитель государственного мнения, а не как посредник. В Российской империи цензурная реформа начала готовиться и осуществляться не под давлением общественно-политического движения, а по решению самого правительства. Но в условиях реформ, стремительной политизации общества и все более активной литературной борьбы цензура не имела возможности остаться беспристрастным арбитром, стоящим над схваткой. Тем более сложно оказалось совмещать роли цензора и писателя. Благие начинания Гончарова и прочих

¹⁹⁸ См.: *Höbelt L. The Austrian Empire // The War for The Public Mind... P. 223–224.*

«либеральных бюрократов» от цензуры с самого начала не имели шансов на успех.

В новых условиях писателю пришлось служить уже под началом министра внутренних дел Валуева, отличавшегося принципиально иными, более современными взглядами на литературу. Для Валуева цензор был по определению не литератором, а агентом правительства. Министр вовсе не был готов полностью отказаться от «покровительства» писателям, однако, в отличие от Корфа, полагал, что правительство должно поддерживать не литературу вообще (в качестве ценного орудия просвещения), а своих идейных союзников. Определенный опыт работы с Валуевым Гончаров получил еще в качестве редактора правительственной газеты «Северная почта»¹⁹⁹. Как показали современные исследования, в ходе редактирования этой почти забытой газеты Гончаров вместе со своим руководителем Валуевым занимался принципиальными вопросами государственного идеологического строительства и предлагал читателю новые, современные и полезные правительству модели патриотического чувства²⁰⁰.

¹⁹⁹ См.: *Ковалев И. Ф.* И. Гончаров – редактор газеты «Северная почта» // Русская литература. 1958. № 2. С. 130–141; *Гайнцева Э. Г.* И. А. Гончаров в «Северной почте» (История одной газетной публикации) // И. А. Гончаров: Материалы Междунар. конф., посвященной 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова: Сб. русских и зарубежных авторов / Сост. М. Б. Жданова и др. Ульяновск: Обл. тип. «Печатный двор», 1998. С. 261–267.

²⁰⁰ См.: *Гуськов С. Н.* 1) И. А. Гончаров, П. А. Валуев и кампания всеподданнейших писем 1863 года // Русская литература. 2019. № 4. С. 72–80; 2) Экономика патриотизма (И. А. Гончаров в «Северной почте») // Складчина: Сб. статей

Как мы покажем далее, эта новая модель отношений между литературой и властью серьезно повлияла на развитие русского романа вообще и творчества самого Гончарова в частности.

Экскурс 2
**«ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАН»
И НОВАЯ ЦЕНзуРА
КАК МИНИСТР ВАЛУЕВ
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАЛ
ПИСЕМСКОМУ**

В январе 1867 года в Петербургском цензурном комитете обсуждалось несколько курьезное дело об известном писателе, заставлявшем цензоров рассмотреть свою не подлежащую цензуре книгу. Писателем этим был А. Ф. Писемский, а книгой – роман «Взбаламученное море», который переиздавался в составе 4-го тома «Сочинений» Писемского, печатаемых Ф. Т. Стелловским. Сам по себе этот эпизод не очень значителен и может быть объяснен исключительно мнительностью писателя, который едва ли чувствовал себя комфортно в месяцы, следовавшие после покушения Д. В. Каракозова на императора и закрытия «Современника» и «Русского слова». Однако если учесть своеобразную предысторию романа Писемского, то интересующий нас случай проливает свет не только на цензурную историю этого произведения, но и на взаимоотношения литераторов и цензоров в 1860-е годы, когда Писемский, недовольный господством «ниги-

лизма» в журналистике своего времени, при поддержке министра внутренних дел пытался повлиять на место института литературы в государственной жизни.

4 января цензор П. Г. Сватковский докладывал комитету:

Задача, решаемая этим романом, была, по словам автора, собрать всю ложь, которая высказывалась на различных степенях русской общественной и государственной жизни во время выхода крестьян из крепостной зависимости.

В начале романа автор представляет ложь в веселых благодетелях, в благочестии старой злой девы-помещицы, в прежнем офицерском блеске, в прежнем корпусном воспитании, в университетской молодежи, с ее эстетическим направлением, в страстности девушки с пансионским воспитанием, в помещичьем быте, в самой администрации, в бюрократии, суде, полиции, в положении богатых монополистов. Потом в новой эпохе с ее новыми учреждениями, в дворянах этого времени, гласности, обличителях, коммерческих предприятиях, воспитании с социалистическим направлением, материализме; вообще служении новой идеи (*так!*), нигилизме агитаторов и пр.

Так как роман этот был напечатан первый раз тотчас вслед за отменой крепостного права и в то время произвел на общество скорее хорошее влияние своим осмеиванием сумасбродства нигилистов и злоупотреблений отживших общественных порядков,

то цензор полагал бы, с своей стороны, возможным дозволить напечатание этого романа вторым изданием без всяких перемен, несмотря на неуместную резкость и цинизм рассказа во многих местах романа. Таковая резкость и вольность речи составляют как бы характеристическую черту этого замечательного литературного произведения и самого времени, в которое явилось первое издание [и которому этот роман служит литературным памятником].

Но имея в виду, что сам автор, несмотря на 30-тилистовый объем романа, не желает принять на себя ответственность второго издания своего сочинения и усиленно навязывает его предварительной цензуре, а также и то, что в романе отзывается развитие именно тех уродливых явлений общественной жизни, которые привели в своем движении к недавним весьма грустным событиям, то цензор считает долгом представить на благоусмотрение Комитета разрешение напечатать [без перемен] второе издание романа «Взбаламученное море»²⁰¹.

Просьбу Писемского цензурный комитет не удовлетворил, а разбираться в тонкостях его позиции не стал, решив дело на формальных основаниях. Согласно новым правилам

²⁰¹ РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1867. № 7. Л. 1–2. Доклад цитировался также в статье: *Листратова А. В.* О литературно-общественной позиции А. Ф. Писемского 60-х годов // Ученые записки Ивановского гос. пед. ин-та им. Д. А. Фурманова. Т. 38. Русская литература. Методика литературы. Иваново, 1967. С. 35–56. В квадратных скобках помещены вычеркнутые фрагменты.

цензуры, введенным в 1865 году, издание сочинений Писемского от рассмотрения освобождалось, так что комитет отказался принимать какие бы то ни было решения: «Книга заключает в себе свыше десяти печатных листов и потому, по приказанию г. председателя комитета, выдана издателю для печатания оной без предварительной цензуры»²⁰².

К аргументам Сватковского мы вернемся позже, сейчас же обратимся к самой парадоксальной ситуации, когда романист упрашивал цензуру рассмотреть его уже разрешенный и уже напечатанный роман²⁰³. Чтобы понять, почему Писемский вел себя таким странным образом, потребуется обратиться к цензурной истории романа.

Впервые «Взбаламученное море» было опубликовано в 1863 году на страницах катковского «Русского вестника» и в том же году вышло отдельным изданием. «Русский вестник» рассматривался Московским цензурным комитетом, однако никаких упоминаний о романе Писемского в делах комитета за этот год отыскать не удалось²⁰⁴. Содержание этого произведения было достаточно рискованным: на страницах романа встречаются многочисленные эротические сцены, в том

²⁰² РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1867. № 7. Л. 1.

²⁰³ Видимо, Писемский «усиленно навязывал» свое произведение цензуре лично: никаких его писем в цензурных архивах не обнаружено, а в конце января 1867 года он вернулся в Москву из Петербурга, где, возможно, хлопотал об издании своих сочинений (см. письмо Б. Н. Алмазову от 1 февраля 1867 г. – *Писемский*, с. 213).

²⁰⁴ См.: ЦГАМ. Ф. 31. Оп. 5. № 488–495.

числе насилие барина над крестьянкой, описаны крестьянский бунт против власти помещиков и его жестокое подавление, катастрофические последствия крестьянской реформы, затрагиваются многие другие темы, едва ли приветствовавшиеся цензурой. Между тем роман не был даже вынесен на обсуждение цензурного комитета. Как мы уже убедились, цензор едва ли мог самостоятельно одобрить такое рискованное произведение.

Судя по всему, роман Писемского был напечатан благодаря вмешательству министра внутренних дел, недавно возглавившего цензурное ведомство. 7 октября 1863 года председатель Московского цензурного комитета М. П. Щербинин обратился к Валуеву с недоуменным письмом на французском языке. Согласно сообщению Щербинина, роман Писемского был разрешен для публикации в «Русском вестнике» вовсе не Московским цензурным комитетом, а В. Н. Бекетовым, петербургским цензором. Щербинин вопрошал министра, верить ли редакции журнала, которая утверждала, что разрешение Бекетова действительно и для отдельного издания²⁰⁵. По всей видимости, Валуев подтвердил мнение Каткова, и роман был разрешен: по крайней мере, никаких сведений о его цензурном прохождении более не известно.

Письмо Щербинина свидетельствует о совершенно ненормальном порядке рассмотрения романа. Согласно цензурному уставу 1828 года, действовавшему до середины 1860-

²⁰⁵ См.: РГИА. Ф. 908. Оп. 1. № 676. Л. 42 – 42 об.

х годов, периодические издания пользовались исключительным правом: чтобы ускорить их выход в свет, цензор мог рассматривать их независимо от комитета; последний был обязан обсуждать только те материалы, которые цензор хотел запретить²⁰⁶. Соответственно, устав не предусматривал возможности, чтобы какое-либо произведение рассматривалось сотрудником другого цензурного комитета: такое вмешательство со стороны нарушило бы нормальное делопроизводство, а при публикации создало бы невозможную задержку на пересылку рукописи из города в город.

Нарушение нормального хода дел, допущенное цензурой в случае публикации романа Писемского, может объясняться только вмешательством министра внутренних дел: это ведомство было устроено так, что у разных цензурных комитетов не было общих руководителей, кроме Валуева. Назначение Бекетова на роль цензора свидетельствовало, похоже, о стремлении министра пропустить «Взбаламученное море». Валуев мог оперативно и конфиденциально давать распоряжения жившему и служившему в Петербурге, а не в Москве Бекетову и разрешать спорные вопросы, но главное – Бекетов имел репутацию цензора либерального. Умеренный либерализм занимавшего такую должность человека вызывал в писательских кругах иронию²⁰⁷, однако Бекетов за свою

²⁰⁶ См.: Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: Тип. Морского министерства, 1862. С. 329, 331.

²⁰⁷ См., напр., издевательскую характеристику Бекетова в мемуарах Панаевой

карьеру действительно принял несколько смелых решений. Так, в 1856 году он разрешил перепечатку стихотворений Некрасова в «Современнике» и едва не был за это уволен (см. экскурс 1), а вскоре после разрешения «Взбаламученного моря» ему все же пришлось уйти в отставку после публикации «Что делать?» Н. Г. Чернышевского²⁰⁸. В 1860 году Бекетов получил взыскание по службе за разрешение статьи «Городская полиция» для журнала «Библиотека для чтения», редактором которого в то время был Писемский²⁰⁹. Таким образом, назначение Бекетова свидетельствовало о стремлении руководства пропустить роман. И действительно, не сохранилось свидетельств какого бы то ни было вмешательства в публикуемый текст.

В случае «Взбаламученного моря» министр совершил поступок с точки зрения цензурного устава сомнительный, к тому же совершенно конфиденциальный: официально вмешательство Бекетова не было обозначено ни в делах Московского цензурного комитета, ни в «Русском вестнике». Очевидно, Валуев был очень заинтересован в публикации романа Писемского, если решил пойти на такие меры. По всей видимости, этот интерес подогревался прежде всего двумя

(Панаева А. Я. (Головачева). Воспоминания. М.: Правда, 1986. С. 287).

²⁰⁸ См.: Рейсер С. А. Некоторые проблемы изучения романа «Что делать?» // Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 783–787.

²⁰⁹ См.: Валуев С. М. Писемский-журналист (1850–1860-е годы). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 63–64.

основными причинами.

В 1863 году министр внутренних дел стремился сотрудничать с Катковым, как раз получившим невероятную популярность за резкое осуждение Январского восстания в Польше и за поддержку его подавления. Валуев, по всей видимости, вполне соглашался с идеями московского журналиста относительно восстания и желал привлечь на свою сторону автора популярных статей. Министр, еще не зная о многочисленных конфликтах с Катковым, которые ждали его лично и цензурное ведомство в целом, пытался способствовать выходу публикаций на страницах катковской газеты «Московские ведомости». Это своеобразное покровительство принимало характер конфиденциальных разрешений (даже письмами Катков и Валуев обычно обменивались с оказией, не доверяя почте), которые председатель Московского комитета, опасавшийся лично разрешать острые статьи Каткова, был вынужден выполнять²¹⁰.

Конечно, длинный злободневный роман был очень ответственным материалом для журнала, и министр, желавший

²¹⁰ См.: Рейфман П. С. «Московские ведомости» 1860-х годов и правительственные круги России // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. № 358. Труды по русской и славянской филологии: XXIV: Литературоведение. Тарту, 1975. С. 9–13; Первалова Е. В. 1) Переписка М. Н. Каткова и П. А. Валуева в 1863–1864 гг. (по материалам НИОР РГБ) // Румянцевские чтения – 2015 = The Rumyantsev readings – 2015: материалы междунар. науч. конф. (14–15 апреля 2015). Ч. 2. М.: Пашков дом, 2015. С. 25–30; 2) «Московские ведомости» М. Н. Каткова в 1863–1864 гг. – политический официоз или орган независимого общественного мнения? // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. 2015. № 4 (36). С. 163–179.

наладить взаимовыгодные отношения с его редактором, это несомненно понимал, однако вряд ли Валуев оказал бы поддержку роману, если бы само его содержание не казалось министру заслуживающим одобрения. Каким образом «Взбаламученное море» могло прочитываться с точки зрения цензора, до некоторой степени проясняет цитированный выше отзыв Сватковского. Среди достоинств романа он отметил разоблачение «нигилистов» и сочувственное изображение автором правительственных реформ. Что касается отношения Писемского к «нигилистам», оно действительно было в целом далеко не одобрительным. Исследователи долго спорили о том, насколько сочувственно в романе изображаются «нигилистические» герои, такие как Елена Базелейн²¹¹, однако так или иначе их действия представлены как совершенно безуспешные: ни агитация среди купцов, ни радикальная критика института семьи, ни ввоз пропагандистских листовок из Лондона в романе не приводят ни к каким значимым результатам. С точки зрения Каткова «Взбаламученное море», по всей видимости, выглядело своего рода продолжением опубликованных в «Русском вестнике» годом ранее «Отцов и детей», также направленных против «нигилизма»²¹².

²¹¹ См., напр.: *Рощаль А. А.* К типологии антинигилистического романа (Образы вождей революционной демократии в романе А. Ф. Писемского «Взбаламученное море») // Ученые записки Азербайджанского пед. ин-та языков им. М. Ф. Ахундова. Серия XII. Язык и литература. 1971. № 1. С. 105–115.

²¹² См.: *Трофимова Т. А.* «Положительное начало» в русской литературе XIX века («Русский вестник» М. Н. Каткова): Автореф. дис. ... канд. филол. наук.

Аналогичным образом к этому произведению могли относиться и цензоры, которых интересовали скорее не сложные чувства, вызываемые у читателя героем-нигилистом, а то, насколько роман мог поспособствовать дискредитации тех или иных политических идей. Именно так в докладе о современной литературе характеризовал «Отцов и детей» чиновник цензурного ведомства П. И. Капнист, на мнение которого, вероятно, опирался Валуев:

Вопрос о нигилизме, может быть, помимо намерений самого автора, оказался в романе не в симпатичном колорите для способности всеотрицания, и это произвело, между прочим, то, что критики «Современника» и «Русского слова», всегда прежде сходившиеся в воззрениях, выказались в неловком положении и стали противуречить друг другу, что было замечено другими журналами. Спустя не более полугода после появления романа г. Тургенева можно уже заметить принесенную им для общества пользу. Анализ нигилизма привел общество и литературу к сознанию, что это качество есть явление ненормальное, болезненное, и, как против всякой болезни, стали искать средств и против нигилизма... Роман г. Тургенева принес пользу еще и тем, что лишил нигилизм того обаяния, которое начинал он получать под пером людей с талантом, как, например,

Второе приводимое Сватковским достоинство романа – поддержка автором реформ – с первого взгляда удивляет. Действительно, во «Взбаламученном море» дореформенное общество изображается в очень мрачных тонах – однако и отмена крепостного права представлена как настоящая катастрофа:

На лугах несколько бедных дворян, с стриженными головами и выбритыми лицами, косили.

– Что это, господа, как у вас поля запущены? – сказал он им.

– Не слушаются нынче нас рабы наши, – отвечали ему некоторые из них какими-то дикими голосами.

Около дороги бедная дворянка, с загорелым, безобразным лицом, но в платишке, а не сарафане, кормила толстого, безобразного ребенка и, при проезде Бакланова, как дикарка какая, не сочла даже за нужное прикрыть грудь²¹⁴.

По всей видимости, внимание цензора обратил на себя прежде всего другой эпизод, который мог привлечь и самого Валуева. Речь идет о ключевой для романа главе с выразительным названием «Что-то веет другое!», где дается общая картина рубежа царствований Николая I и Александра II:

Зачем и из-за чего эта война началась – в народе и

²¹³ Катнист П. И. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Печ. А. И. Снегиревой, 1901. С. 67–68.

²¹⁴ Писемский А. Ф. Соч.: В 4 т. Т. 4. СПб.: Изд. Ф. Стелловского, 1867. С. 222.

в обществе никто понять не мог. Впрочем, не особенно и беспокоились: турок мы так привыкли побеждать! Но Европа двинула на нас флоты английский, французский и турецкий!

Хомяков писал в стихах, что это на суд Божий собираются народы.

Несмотря на нечеловеческое самоотвержение войска, стало, однако, сказываться, что мы не совсем военное государство; но зато государство совсем уж без путей сообщения...

<...>

В сентябре 1855 года была напечатана лаконическая депеша из Севастополя: «наши верки страдают»!

Исход дела стал для всех понятен.

Все почувствовали общее, и нельзя сказать, чтобы несправедливое, к самим себе презрение.

«Русский вестник» уже выходил. Щедрин стал печатать свои очерки. По губерниям только поживались и пошевеливались и почти со слезами на глазах говорили: «Ей-богу, это ведь он нас учит, а мы и не умели никогда так плутовать!»²¹⁵

Этот фрагмент не мог не понравиться Валуге и, вероятно, воспринимался как проправительственный даже в 1867 году. Дело в том, что Писемский, сочиняя цитированный отрывок, буквально вдохновлялся идеями Валуге, высказанными, впрочем, несколько раньше. Вначале обратимся к цитируемой Писемским депеше. Эта депеша действительно

²¹⁵ Там же. С. 169.

была послана генералом М. Д. Горчаковым 15 августа 1855 года и относилась к разрушениям русских позиций от огня артиллерии противника. В действительности, однако, Горчаков выразился слегка по-другому: «верки наши страдают»²¹⁶. Можно было бы подумать, что Писемский просто забыл текст Горчакова, если бы этот текст не приводился именно в той форме, как и в его романе, в одном очень известном источнике. Это «Дума русского (во второй половине 1855 года)» П. А. Валуева (тогда еще не министра, а губернатора), активно распространявшееся в списках неподцензурное произведение, где слова Горчакова приводятся так же, как в романе²¹⁷.

Сходство значимого фрагмента романа Писемского и «Думы русского», конечно, не исчерпывается порядком слов в депеше. Как и у Писемского, в ней, например, тоже в ироническом тоне цитируется стихотворение А. С. Хомякова (у Писемского – «Суд Божий», 1854, у Валуева – «Остров», 1836):

Давно ли пророчествовали, что
Бог отдаст судьбу вселенной,
Гром земли во глас небес...

²¹⁶ <Депеша М. Д. Горчакова> // Северная пчела. 1855. № 176. 13 авг.

²¹⁷ Валуев П. А. Дума русского (во второй половине 1855 года) // Русская старина. 1891. № 5. С. 349.

Что стало с нашими морями? Где громы земные и горняя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях! Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега! Неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю, занимают наши города, укрепляют их против нас самих и отбивают нас, когда мы усиливаемся вновь овладеть отцовским достоянием!²¹⁸

Валуев, как и Писемский, иронично относился к официальным реляциям из Петербурга о состоянии и военной мощи России и, опять же как и Писемский, прямо осуждал, например, состояние путей сообщения:

Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которое требовалось для уравнивания боя; что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны; что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог более, чем где-либо необходимых на тех неизмеримых пространствах, где нам надлежало передвигать наши силы. Европу колебали несколько лет сряду внутренние раздоры и мятежи; мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжение этого времени быстрее и последовательно

²¹⁸ *Валуев П. А. Дума русского (во второй половине 1855 года). С. 350.*

Наконец, Валуев описывал печальный конец царствования Николая I как завершение исторической эпохи, плачевное, но необходимое для дальнейшего развития России событие:

Еще недавно Россия оплакивала непритворными слезами кончину того великого государя, который около трети столетия ее охранял, ею правил и ее любил, как она его любила. Преклоняясь пред его могилою, Россия вспоминала великие свойства его и с умилением исповедовала величие кончины его. Эта кончина объяснила, пополнила, увенчала его жизнь. Сильный духом, сильный волею, сильный словом и делом, он умел сохранить эти силы на смертном одре и, обращая с него прощальный взгляд на свое царство, на своих подданных, на родной край и на великую русскую семью, явил себя им еще величественнее и возвышеннее, чем в полном блеске жизненных сил и самодержавной деятельности. Если в этот печальный час грозные тучи повисли над нами, если великие труды великого венценосца не даровали нам тех благ, которые были постоянною целью его деяний, то ему, конечно, предстояли на избранном им пути препятствия, которых далее и его сила, и его воля не могли одолеть²²⁰.

²¹⁹ Там же. С. 353.

²²⁰ Там же.

Таким образом, Валуев и Писемский выстраивали схожий исторический нарратив: гибель войск под Севастополем, вопреки наивному мнению славянофилов (представленных Хомяковым), бессильна изменить ход войны, однако может стать жертвой на алтарь реформ, которые позволяют преобразить Российскую империю в новое, более современное государство. Вряд ли Писемским двигала сервильность: скорее, писатель действительно разделял идеи Валуева и пытался на их основе превратить неофициальную записку министра в нарративный текст, осмыслявший недавнюю историю и устанавливавший ее связь с настоящим. Вместе с тем писатель мог рассчитывать на покровительство со стороны Валуева, которое далеко не ограничилось вмешательством в процесс цензурования. В свой рассказ о ключевых исторических событиях в Российской империи писатель включил и возникновение катковского «Русского вестника» – того издания, где печатался и сам Писемский. Литература, в том числе некоторые формы журналистики, казалась писателю важной составляющей реформ, как и смягчение цензуры, описанное в той же главе словами некоего цензора:

Я прежде в повестях, если один любовник являлся у героини, так заставлял автора непременно женить в конце повести, а теперь, помилуйте, перед героиней торчат трое обожателей, и к концу все разбегаются, как собачонки²²¹.

²²¹ Писемский А. Ф. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 169.

Очевидно, мелочный контроль цензуры за нравственностью писателя не устраивал: для литературы эпохи перемен, с его точки зрения, нужна была новая цензура, которую мог воплощать именно Валуев.

Валуев и сотрудники его ведомства, включая Гончарова, действительно обратили внимание на новый роман. 2 апреля 1863 года писатель читал отрывки из «Взбаламученного моря» у Валуева (тот охарактеризовал роман как «политический») в присутствии большой компании высокопоставленных чиновников, большинство которых имели непосредственное отношение к цензурному ведомству: председателя Комитета цензуры иностранной Ф. И. Тютчева, председателя Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ, сенатора А. В. Веневитинова, одного из крупных деятелей цензурной реформы Д. А. Оболенского, товарища министра внутренних дел А. Г. Тройницкого и недавно назначенного члена Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания Гончарова (*Валуев*, т. 1, с. 215). Такое внимание со стороны министра стало для Писемского поводом обращаться с просьбами о поддержке. 4 августа 1863 года автор «Взбаламученного моря» просил Валуева повлиять на театральное начальство, которое отказывалось ставить его пьесу «Горькая судьбина», причем Писемский упомянул «милостивое внимание» со стороны министра, вероятно, имея в виду именно эти чтения (*Писемский*, с. 159). Наконец, 10 января 1864 года Писемский обратился к Валуеву, послав ему отдельное

издание «Взбаламученного моря» (то самое, о котором Щербинин спрашивал министра) в двух экземплярах: один полагался адресату, а второй Писемский мечтал «поднести государю императору» (*Писемский*, с. 164). Интересна мотивировка такого подношения: Писемский утверждал, что император, узнав из его романа, насколько «ничтожно, не народно и даже смешно» революционное движение в России, немедленно проникнется «милосердием к несчастным, которые во всех своих действиях скорей говорили фразы, чем делали какое-нибудь дело» (*Писемский*, с. 164–165). Иными словами, писатель претендовал на положение своеобразного придворного романиста, осведомляющего царя о событиях в империи и способного прямо повлиять на принятие важнейших политических решений. Впрочем, неизвестно, был ли роман поднесен императору. Более того, еще в 1865 году Писемский обращался к Валуеву с просьбами о протекции по службе: министр, по мнению писателя, мог назначить его советником Московского губернского правления или цензором (см. письма от 12 и 14 октября 1865 года: *Писемский*, с. 186–187). Не надеясь на литературные успехи, разочарованный Писемский хотел поправить свое материальное положение. В его глазах писательское и цензорское ремесло были достаточно тесно связаны, чтобы высоко оценивший его роман министр мог как бы перевести его из литературы в цензуру. Разумеется, Валуев эту просьбу не выполнил.

Казалось бы, модель литературного покровительства была

поразительно устаревшей для русской литературы того периода. Длинные романы были прежде всего рассчитаны на публикацию в толстых литературных журналах, что предполагало взаимодействие с публикой, составляющей образованное общество, а не с вельможами и с императорами. Писемский, собственно, и выбрал для публикации журнал Каткова по вполне современным соображениям: он руководствовался политическими и эстетическими взглядами редактора, его влиянием на публику и способностью назначить внушительный гонорар. Поддерживая журнал, писатель участвовал в работе редакции и рекомендовал печататься своим друзьям-писателям, которых считал единомышленниками²²².

У Писемского хватало оснований быть недовольным положением дел в русской прессе и обращаться за поддержкой к государственной власти. Незадолго до публикации романа сам он стал героем шумной истории. В редактируемом им журнале «Библиотека для чтения» вышло несколько анонимных фельетонов, в которых в издевательском тоне изображалась российская общественная жизнь. Позиция Писемского – автора фельетонов и редактора журнала – не совпала с позицией субъекта повествования в этих фельетонах (они написаны от лица явно условных персонажей – статского советника Салатушки и «старой фельетонной клячи»

²²² См., например, письма Тургеневу от 12 января и 4 (16) июня 1863 года: Письма А. Ф. Писемского (1855–1879) И. С. Тургеневу // Литературное наследство. Т. 73. Кн. 2. М.: Наука, 1964. С. 176–177.

Никиты Безрылова). Тем не менее сама возможность публикации в серьезном журнале таких произведений привела к резким выступлениям против Писемского на страницах сатирического еженедельника «Искра». Грандиозный публичный скандал, разгоревшийся после этого, едва не привел к дуэли между писателем и редакторами «Искры». Разочарованный в литературной жизни Писемский, который вряд ли был в восторге, когда большинство литераторов, даже вовсе не любивших «Искру», не стали его поддерживать, отказался от положения редактора и переехал из Петербурга – центра литературной и в особенности журнальной жизни – в Москву²²³.

Писемский обращался к архаическим институтам патронажа в условиях, когда современная журналистика (за исключением изданий Каткова) его не устраивала: литератор был готов по собственному выбору перейти под покровительство императора или главы цензурного ведомства, но не становиться в зависимость от политизированных журналистов и литературного рынка 1860-х годов. Автор «Взбаламученного моря», подвергнутый осуждению на страницах радикально настроенных журналов, стремился не просто иронически изобразить в своем романе, например, одного из лидеров враждебного себе направления Н. Г. Чернышевско-

²²³ См.: *Рошаль А. А.* Писемский и революционная демократия. Баку: Азербайджан. гос. изд-во, 1971. С. 46–57; *Балуев С. М.* Писемский-журналист... С. 92–149; *Мысляков В. А.* Писемский в истории литературных дуэлей // Русская литература. 2012. № 2. С. 115–129.

го. Писемский надеялся скорректировать саму институциональную природу литературы таким образом, чтобы романист выступал прежде всего не перед «нигилистическим» литературным сообществом, а перед министром, императором и благонамеренной публикой «Русского вестника».

Как писали еще русские формалисты, в истории литературы архаическое и новаторское часто неразделимы. Попытки Писемского апеллировать к устаревшим практикам литературного патронажа нашли сочувствие у Валуева, пытавшегося построить, напротив, более современную систему цензуры, ориентированную на поддержку проправительственных литераторов и на маргинализацию их оппонентов. С точки зрения министра, одоббив «Взбаламученное море», он помогал своим идеологическим союзникам из лагеря литераторов и журналистов. Для Писемского поддержка Валуева была не только средством избежать цензурных проблем, но и свидетельством того, что ему удалось достичь своеобразной негласной договоренности с властями и попытаться сформировать альтернативное поле литературы, устроенное, как думал писатель, на более справедливых основаниях. Даже так не нравившиеся Писемскому «нигилисты», согласно его замыслу, выиграли бы от новой ситуации: напомним, что император, прочитав «Взбаламученное море», должен был отнестись к ним более милосердно.

В этой связи становится понятнее кажущаяся абсурдной настойчивая просьба Писемского процензурировать переизда-

ние его романа. Очевидно, в бурной политической обстановке после покушения Каракозова писатель стремился подтвердить, что его договоренность с министром все еще действует. Для этого Писемскому необходимо было получить новое доказательство, что его рискованный роман одобряется цензурой. Ясна и реакция цензоров на его предложение: ни сам роман, ни возможный «союз» с литераторами уже не казались Валуеву и его подчиненным актуальными. Хрупкая система соглашений и союзов, которые пытались установить между собою писатели, журналисты и цензоры, разрушалась. К середине 1860-х годов Писемский разошелся с Катковым и в «Русском вестнике» больше не печатался. В качестве причины он приводил как раз некорректное понимание Катковым характера их сотрудничества: «...видимо было, что они привыкли к какому-то холопскому и подобострастному отношению своих сотрудников и что им более нужен корректор, чем соредактор...» (см. письмо И. С. Тургеневу от 8 мая 1866 года: *Писемский*, с. 203). Очевидно, Писемский готов был считать своими покровителями не журналистов, а разве что министров и императора, и в этом смысле Катков оказался для него не лучше радикальных демократов из «Искры». Если в 1863 году Валуев, со своей стороны, готов был поддерживать катковские издания и облегчать для них цензуру, то к 1867 году министр мечтал об их закрытии (воплотить в жизнь эти мечты ему мешала прямо выраженная воля Александра II, который высоко ценил сохранявшего неза-

висимость от властей редактора «Московских ведомостей» и «Русского вестника»)²²⁴. Через год после отказа цензуры рассматривать «Сочинения» Писемского министр внутренних дел лишится своего поста: фигура бывшего «либерального бюрократа» в качестве главы цензуры и полиции будет уже неуместна.

Именно представление о неактуальности романа Писемского и предлагаемой им репрезентации российского общества заметно в отзыве Сватковского, процитированном нами в начале этого экскурса. Цензор стремился продемонстрировать, что «Взбаламученное море» осталось в прошлом. «Цинизм» романа, действительно содержащего для того времени очень откровенные сцены и представлявшего большинство важных действующих лиц не в самом оптимистичном виде, был еще простителен прежде всего как знак эпохи, «памятником» которой казалось Сватковскому произведение Писемского. Напротив, нигилизм, который у Писемского представлен прежде всего как «сумасбродства», связанные со свободой сексуальной жизни, поездки в Лондон к Герцену и споры об общине и коммуне, теперь, после покушения на императора, превратился в опасное для государства «уродливое явление».

Для Гончарова участие в чтении и обсуждении романа

²²⁴ См.: Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати: 60–70-е годы XIX века. Л.: Наука, 1989. С. 153–185; Ruud C. A. Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804–1906. Toronto: University of Toronto Press, 2009. P. 150–166.

Писемского могло стать одним из характерных столкновений с новой ситуацией, в которой оказались государство и общество. «Политический» роман скандального и шокирующего содержания, поляризация общественного мнения, необходимость оценивать литературные произведения по государственным, а не эстетическим соображениям – все это были новые реалии, с которыми приходилось иметь дело цензору 1860-х годов. Не избежал подобного рода проблем и сам Гончаров.

Глава 3

ЦЕНЗОР НА РАСПУТЬЕ ГОНЧАРОВ В ВЕДОМСТВЕ ВАЛУЕВА

В начале 1860-х годов надежды на установление доброжелательных отношений между обществом и властью стремительно исчезали. Распространение революционных листовок, арест Н. Г. Чернышевского, видимо, по сфальсифицированному обвинению, фактически ставший наказанием за его журнальную деятельность, начало Польского восстания ознаменовали новый этап в отношениях государства и общества и раскол внутри самого общества. В этих условиях цензура, конечно, начала восприниматься как часть правительственного аппарата. В это же время, после многочисленных усилий, Министерству народного просвещения удалось избавиться от вызывавшего множество хлопот цензурного ведомства, которое перешло под контроль Министерства внутренних дел: из «просветителя» цензор окончательно стал «полицейским». В этой главе мы постараемся описать, каким образом роли писателя и полицейского совмещались (вернее сказать, не совмещались) в деятельности Гончарова, а на этом примере попытаемся проследить, как развивались отношения литературы и власти в Российской им-

перии середины 1860-х годов. Первый раздел будет посвящен рассмотрению пьес о Северо-Западном крае – одном из наиболее конфликтных регионов Российской империи; второй – выбору между публичной критикой и политическими репрессиями в отношении радикально-демократических изданий.

И цензоры, и литераторы самых разных убеждений – от Писарева до Каткова – в целом отлично понимали, что в новых условиях их отношения не могут не быть враждебными. Однако особенно остро эти противоречия чувствовались благодаря появлению в литературном сообществе сильной и выразительной группы радикально-демократически настроенных «нигилистов», отказывавшихся идти на любые компромиссы с властями. Если в 1856 году только Чернышевский категорически не верил в возможность доброжелательных отношений с цензорами, то к началу 1860-х годов «нигилисты» писали об этом открыто – и это не вызывало никакого несогласия. Для радикалов сотрудничество с правительством, особенно с цензурой, по умолчанию было возмутительным предательством со стороны писателя. В более здоровой литературной ситуации, по мнению Писарева, сотрудник цензуры просто обязан был вызывать презрение и ненависть всех членов общества. На материале французской литературы Писарев утверждал:

Чиновники, назначенные в цензоры, пожелали, чтобы имена их оставались неизвестными публике.

Раздражение публики против этих чиновников было очень сильно, и Бенжамен Констан говорит, что во Франции в то время не нашлось бы ни одного человека, который решился бы выйти на улицу, признав себя цензором (*Писарев*, т. 4, с. 112; статья «Очерки из истории печати во Франции», 1862).

Само присутствие радикалов в литературе усугубляло конфликт между писательскими кругами и правительством, поскольку любой литератор, не подчеркивавший свое противостояние власти, немедленно причислялся ими к представителям этого правительства и объявлялся исключенным из литературного процесса²²⁵. Единственным выходом для цензора должен был стать отказ от попыток посредничать между правительством и литературой и однозначно перейти на сторону первого.

В 1860-е годы Гончаров вполне осознавал, что совмещать роли писателя и цензора очень сложно. Источником этой проблемы он считал именно «нигилистов». В письме Е. А. и М. А. Языковым от 24 ноября 1862 года он рассуждал о неодобрении своего решения редактировать министерскую газету «Северная почта»:

Спасибо Вам за сочувствие к газете *по причине меня*: не все разделяют Ваше чувство и многие ворчали и ворчат еще по сю пору на меня: добро бы

²²⁵ См., напр., обвинения в доношительстве в адрес Н. С. Лескова в статье Писарева «Прогулка по садам российской словесности» (1865).

либеральные журналы: это их ремесло, *принцип* того требует, хотя эти же журналы твердили года три, что мы, беллетристы, – лишние теперь, что нас уже не надо, что другие вопросы, важнее, на очереди. Так, я согласен: да ведь не топиться же нам, надо хлеб зарабатывать; так – нет, не смей: опять поют: ты литератор! Фу, чорт возьми – да что же делать-то? Романов не пиши, не нужно, да и служить не смей: зачем-де быть на стороне правительства! Я их спрашиваю, да что же в этом предосудительного? Вот, если б я продал свой собственный журнал и говорил одно, а писал другое, да еще тайком²²⁶.

Как бы он ни возражал своим критикам, Гончаров, как мы увидим, и сам не испытывал восторга перед ситуацией, в которой он оказался: будучи убежденным противником «нигилистов» и стремясь с ними публично полемизировать, Гончаров как цензор должен был как раз препятствовать нормальной публичной полемике, подрывая базовый принцип литературной дискуссии.

В целом против сотрудничества с правительством, особенно службы в цензуре, выступали не только «нигилисты», но и более умеренные литераторы. Очевидно, устаревшая модель цензуры, основанная на «просвещении» и покровительственном отношении к литературе, особенно раздражала русскую публику. Когда либеральный министр народного просвещения А. В. Головнин, желавший избавиться от цен-

²²⁶ РО ИРЛИ РАН. № 8952. Л. 23 об. – 24.

зурного ведомства, инициировал общественное обсуждение цензурной реформы, немедленно оказалось, что подавляющее большинство литераторов готово подвергнуться судебной ответственности за свои публикации, лишь бы возможно стало не проходить предварительную цензуру (в качестве ответа на предложение Головнина была написана и цитированная выше статья Писарева)²²⁷

²²⁷ Валуев был против обсуждения прессой подобных вопросов (см., напр.: *Balmuth D. Censorship in Russia. 1865–1905.* Washington, D. C.: UP of America, 1979. P. 9–11; см. также: *Ruud C. A. Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804–1906.* Toronto: University of Toronto Press, 2009. P. 147).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.